

АЛЕКСАНДР ГЕНИС
ПЕТР ВАЙЛЬ



Мир
советского
человека

Рисунки
Вагрича Бахчаняна

СоРрvS

Петр Вайль

60-е. Мир советского человека

«Corpus (АСТ)»

2013

УДК 821.161.1-4
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Вайль П. Л.

60-е. Мир советского человека / П. Л. Вайль — «Corpus (АСТ)»,
2013

ISBN 978-5-17-108421-9

Эта книга посвящена эпохе 60-х, которая, по мнению авторов, Петра Вайля и Александра Гениса, началась в 1961 году XXII съездом Коммунистической партии, принявшим программу построения коммунизма, а закончилась в 68-м оккупацией Чехословакии, воспринятой в СССР как окончательный крах всех надежд. Такие хронологические рамки позволяют выделить особый период в советской истории, период эклектичный, противоречивый, парадоксальный, но объединенный многими общими тенденциями. В эти годы советская цивилизация развилась в наиболее характерную для себя модель, а специфика советского человека выразилась самым полным, самым ярким образом. В эти же переломные годы произошли и коренные изменения в идеологии советского общества. Книга «60-е. Мир советского человека» вошла в список «лучших книг нон-фикшн всех времен», составленный экспертами журнала «Афиша».

УДК 821.161.1-4
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-108421-9

© Вайль П. Л., 2013
© Corpus (АСТ), 2013

Содержание

Александр Генис	6
60-е. Мир советского человека	9
От авторов	10
Фундамент утопии	12
20 г. до н. э.	12
Путем пирамиды	18
Соавтор эпохи	22
Интервенция	28
Березовые пальмы	28
Метафора революции	34
Перевернутый айсберг	41
В поисках героев	48
География вместо истории	48
Непотерянное поколение	53
Физики и лирики	59
Конец ознакомительного фрагмента.	60

Петр Вайль, Александр Генис 60-е. Мир советского человека

© П. Вайль (наследники), 1988, 2013

© А. Генис, 1988, 2013

© В. Бахчанян (наследники), иллюстрации, 2013

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2018

© ООО «Издательство АСТ», 2018

Издательство CORPUS ®

* * *

Александр Генис Долгое поколение



Эта книга началась с того, что мы остались без работы. Еженедельник «Семь дней» закрылся на 57-м номере по коммерческим соображениям, к которым редакция не имела отношения. Журнал делали втроем: мы с Вайлем и Бахчанян, и на всех приходилась одна жидкая зарплата. Мы получали ее от издателя в пластмассовом пакете из супермаркета «Вальдбаумс», набитом грязными долларовыми бумажками из газетных киосков. Чистые, думали мы, вспоминая Паниковского, издатель оставлял себе. Деньги делил лучше всех считавший Вайль. На каждого приходилось по 150 долларов, но куча выходила изрядная, бумажки не влезали в карман, и на нас косились всюду, где доводилось расплачиваться. Зато мы знали, что живем на деньги читателей в гораздо более прямом смысле, чем это водится. Через год, однако, грязные доллары кончились, чистыми с нами делиться никто не собирався, и мы оказались безработными – и беззаботными.

Страховое пособие, немногим уступающее зарплате, обещало шесть месяцев безделья. Сладким оно, как мы к тому времени уже твердо усвоили, бывает, если есть дело. Когда не от чего отлынивать, свобода обременительна, день бесконечен, и водка не лезет. Хорошо еще, что рецепт спасения нам был известен – книга. Вопрос: какая?

Ответ нашелся там, где и следовало ожидать: в библиотеке, откуда я с трудом притащил домой нарядный том Джона Пристли «Викторианская Англия». Осенило меня еще до того, как я успел досмотреть картинки: в советской истории была своя викторианская эпоха – та, в которой режим показал все, на что он способен.

«Викторианство» не совпадает с высшим творческим расцветом. В Англии он пришелся на правление другой королевы – Елизаветы Первой, в СССР – на 20-е годы. Главное тут не

столько художественные, военные или политические достижения, сколько сентиментальные – внутреннее мироощущение самодовольной эпохи. Нам ведь очень редко нравится время, в которое мы живем, но иногда мы идем в ногу с календарем и верим в светлое будущее. Такой была либеральная и самоуверенная Англия Виктории. Таким был – точнее, казался многим – Советский Союз 1960-х. Это десятилетие отличалось от семи остальных относительно (Синявскому или Бродскому от этого было не легче) вегетарианскими повадками власти, что позволило впервые и ненадолго реализовать потенции советского общества. Следствием короткого перемирия стало явление самого длинного в русской истории поколения «шестидесятников», которых мы знали лучше других, ибо жили среди них в эмиграции.

Обрадовавшись идее, я тут же позвонил Вайлю, горячо одобрявшему проект. Я даже знаю, когда это произошло: 18 ноября 1984 года. У меня лежит сохраненный на память о нашем решении листок отрывного календаря. Поскольку его автор, эсер Николай Мартьянов, с революции не менял занимательных фактов, развлекавших покупателей, то на обратной стороне листочка можно было прочесть о «волшебной радиоле, позволяющей слушать музыку без оркестра».

«История, – решили мы, – стучится в дверь, и нам остается ее только распахнуть».

Найдя себе дело и тезис, мы принялись искать форму, в которую бы уложилась наша смутная затея. Вот когда выяснилось, что мы не знаем, как пишется история. Более того, этого не знал никто: 60-е кончились совсем недавно и еще не ощущались, да и не были прошлым. Тогда я еще не читал Литтона Стрейчи, который заявил, что историю викторианства написать нельзя, ибо мы знаем о нем слишком много. Мы были в схожем положении и пытались нащупать выход в двух направлениях. Первый вел к книгам, второй – к людям.

Теперь, вооруженные целью, мы каждое утро отправлялись в славянское отделение библиотеки на 42-й стрит и сидели там до вечера, обложившись советской прессой 60-х годов. Конечно, мы ей не верили, но нас интересовало, как она врала и о чем умалчивала. Ведь цензура, рассуждали мы, не только вычеркивает, но и творит, создавая искаженный слепок с действительности. Для опытного глаза (а каким еще он может быть у выросших в Советском Союзе?) ложь партийной прессы обладала сотнями степеней и оттенков. Она не могла не проболтаться о главном, и мы сторожили существенное. Не для того, чтобы уличить, а ради того, чтобы нащупать болевые узлы эпохи. Каждый из них связывал идеологическую тему с конкретным сюжетом в один миф и волей-неволей делал всех современниками. Раз миф тотален, считали мы, он задевает всех, даже тогда, когда его демонстративно игнорируют. День за днем мы уминали сырую и фальшивую реальность, словно рыхлый снег в твердый снежок, которым можно разбить матовое стекло, заслонявшее прошлое.

Так скучная библиотечная работа стала захватывающей охотой, которой мы заразили друг друга и соратника Бахчаняна. Теперь мы ездили на 42-ю вдвоем и радостно делились находками. Вагрич, впрочем, предпочитал предыдущую – сталинскую – эпоху, где он сторожил образцы грозного державного сюрреализма и абсурдного концептуального безумия. Во всяком случае, он не без зависти разглядывал нечеловечески роскошное издание «Стихов о Сталине» Джамбула.

У меня, кстати сказать, был знакомый спортивный журналист, который лежал с «Джамбулом» в кремлевской больнице. «Казахский акын, – рассказывал приятель, – был старым московским евреем, которого распирала правда, но, возможно, он страдал манией величия».

Бахчанян охотно участвовал в нашей работе еще и потому, что она напоминала его собственный метод. Вагрич резвился в тылу врага, используя, как в каратэ, силу противника. Его коллажи лучше всего комментировали эпоху, когда он давал ей самой высказаться, а нам удивиться, ужаснуться и рассмеяться. Мы усвоили его технику безопасности в обращении с мифами, учась не разоблачать, а вскрывать их, как банки с консервированным временем.

Постепенно семантическое облако 60-х сгущалось в оглавление, но мы не торопились его оформить на бумаге, ибо хотели проверить себя на практике. Вокруг нас жили герои той эпохи, и почти каждый дал нам по огромному – многочасовому – интервью. В этих разговорах мы обкатывали центральные темы нашей книги и того времени с теми, кто их таковыми считал – или не считал. Аксенов соглашался, Комар и Меламид нет, Бродский говорил странное. Он, например, ругал космонавтику, не находя в ракете антропоморфного облика раннего самолета, который он, расставив руки, очень похоже изображал.

К несчастью, теперь уже невозстановимые записи всех без исключения бесед пропали. Из экономии мы покупали кассеты по четыре штуки на доллар, не догадываясь, что дешевые пленки быстро осыпаются вместе с записанным голосом.

Так или иначе, нам удалось сверить устную историю с письменной и внести поправки в уже установившуюся концепцию 60-х. Она напоминала американские горки: вверх-вниз, от надежд к разочарованию, с 1961 по 1968-й. Прочертив маршрут и распределив остановки, мы готовы были приступить к делу, но тут кончилось пособие по безработице.

В ответ на выпад судьбы и правительства мы изобрели парный коммунизм. Устройство его оказалось непростым, но действенным. Разделив 24 главы будущей книги по жребии (и я никогда не скажу, кому какая досталась), мы отвели на каждую по месяцу. Пока один, погружившись по уши в материалы, писал свой урок, второй зарабатывал деньги – на «Радио Свобода», в калифорнийской газете «Панорама» и всюду, где хоть что-то платили. Гонорар складывался и делился пополам. Сейчас даже мне кажется странным, что эта наивная система работала без срыва целых два года. Честно говоря, я этим до сих пор горжусь.

Готовую рукопись мы отнесли в лучшее русское издательство из всех тогда существующих – «Ардис». Его хозяйка Эллендея (Карл уже умер) Проффер приняла книгу без вопросов и отдала оформлять Владимиру Паперному, чьей «Культурой Два» мы восхищались и которой завидовали. В 1988-м книга «60-е. Мир советского человека» вышла в свет – через четыре года после того, как была задумана.

За этот срок разительно изменился объект нашего исследования: из агрессивного застоя страна перешла к радикальным реформам. Мы писали о прошлом с легкой ностальгией, оно оказалось актуальным – перестройка решала те же проблемы, которые ставили 60-е. Хуже, что они остались нерешенными и сейчас, когда четверть века спустя выходит новое издание книги, по-прежнему отказывающейся быть исторической.

Говорят, что когда история не развивается, она длится.

*Александр Генис
Нью-Йорк, июнь 2013 года*

60-е. Мир советского человека



От авторов



Когда в 1984-м мы начали работать над этой книгой, 60-е годы казались замкнутым, завершённым историческим этапом. Советская жизнь тогда застыла в неподвижности, по сравнению с которой бурная реальность оттепельных лет предстала соблазнительной для исследователя.

Перестройка смешала все карты, но она же по-новому высветила предмет наших занятий. Горбачевские реформы оказались тесно связанными с проблематикой 60-х. Более того, в 60-х мы до сих пор находим источники почти всех перестроечных новаций.

Прежде чем представить книгу на суд читателя, нам хотелось бы указать на несколько обстоятельств.

Эта книга посвящена не истории первой «оттепели», которую принято датировать 1956–1964 годами, а эпохе 60-х, которые, как мы полагаем, начались в 1961 году XXII съездом, принявшим программу построения коммунизма, а закончились в 68-м оккупацией Чехословакии, воспринятой в СССР как окончательный крах всех надежд. Такие хронологические рамки позволяют выделить особый период в советской истории, период эклектичный, противоречивый, парадоксальный, но объединённый многими общими тенденциями. В эти годы советская цивилизация развилась в наиболее характерную для себя модель, сформировался особый тип «шестидесятника», личность которого так часто вспоминают сегодня. В эти же переломные годы произошли и коренные изменения в идеологии советского общества.

Главной нашей задачей была попытка воспроизвести атмосферу 60-х, описать не столько события, сколько нравы, образ жизни, общественные идеи, стиль эпохи.

Работая над книгой, мы широко использовали свидетельства массовой культуры того времени – прессу, книги, фильмы, телепередачи, песни, анекдоты. Относясь, с одной стороны, критически к таким источникам, как советские журналы и газеты того времени, с другой сто-

роны, мы стремились учесть, что официальные источники информации не только искажают реальность, но и моделируют ее. Пытаясь сохранить точку зрения внешнего наблюдателя, мы, однако, отдаем себе отчет в том, что, будучи поздними «детьми оттепели», часто относимся к 60-м не критично. Что ж, наши заблуждения – тоже характерная примета времени.

Еще один важный вопрос: кто герой нашей книги? О ком, собственно говоря, мы пишем?

Мы ориентировались на достаточно широкий круг людей, в среде которых рождались, жили и умирали идеологические течения или хотя бы идеологические моды. Наверное, этот круг средней интеллигенции, активно заинтересованной в проблемах общественной жизни, условно можно определить как подписчиков «толстых» журналов.

В те дни, когда мы пишем эти строчки, в Советском Союзе происходит испытание главного тезиса нашей книги, тезиса о примате слова над делом. Сумеет ли реальность наконец трансформировать утопический характер страны? Только если это произойдет, 60-е по-настоящему станут предметом истории, потеряв живую связь с современностью.

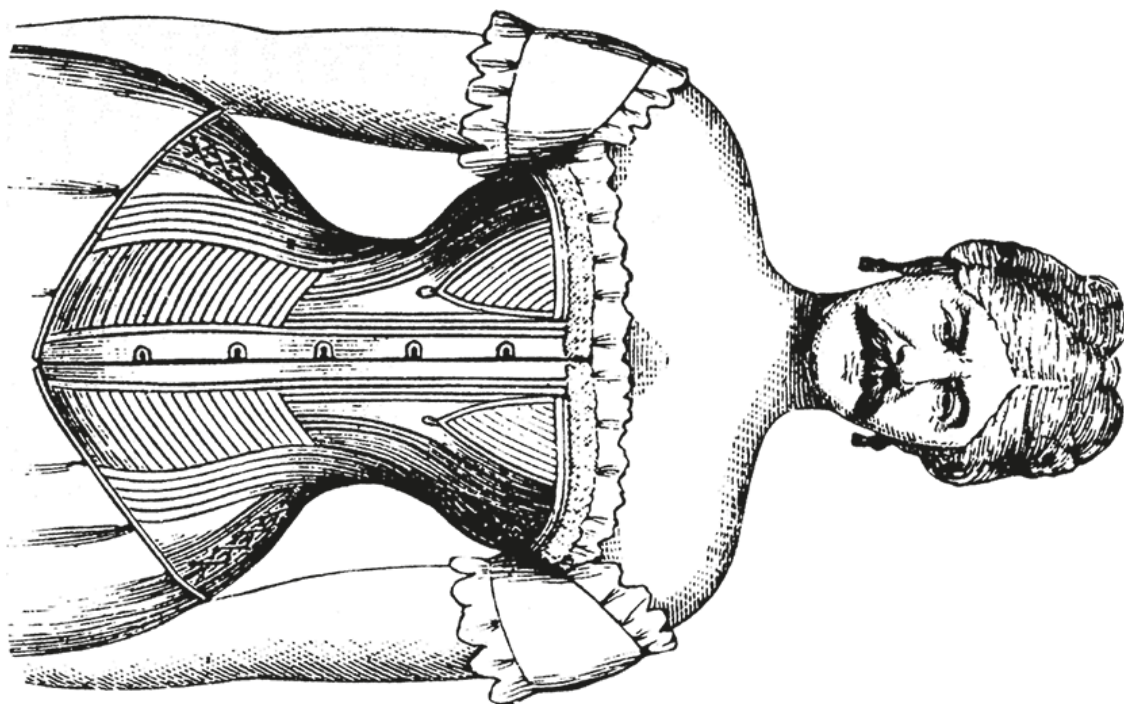
Авторы приносят искреннюю благодарность всем тем, кто, поделившись своими воспоминаниями и размышлениями о 60-х, предоставил в наше распоряжение важнейший источник книги – устные свидетельства современников. Особую помощь, дав авторам обстоятельные интервью, оказали: М. Азбель, В. Аксенов, И. Бродский, В. Войнович, С. Волков, А. Гладилин, С. Довлатов, В. Комар и А. Меламид, Л. Копелев и Р. Орлова, К. Кузьминский, Л. Лосев, Ю. Любимов, Ф. Незнанский, Э. Неизвестный, В. Паперный, А. Синявский, Б. Спасский, И. Сулов, Б. Фруммин, О. Целков, М. Шемякин, Б. Шрагин.

Приносим также благодарность Б. Парамонову, который, взяв на себя труд прочесть рукопись книги, сделал ряд существенных замечаний.

Естественно, все упомянутые лица не разделяют ответственность с авторами ни за концепцию книги, ни за высказанные в ней суждения, ни за содержащиеся в ней ошибки.

*Петр Вайль, Александр Генис
Нью-Йорк, октябрь 1988 года*

Фундамент утопии



20 г. до н. э. Коммунизм

Эра коммунизма началась в Советском Союзе 30 июля 1961 года. Можно сказать, что этот день следует считать датой построения коммунистического общества в одной отдельно взятой стране – СССР.

Хотя проект новой, третьей, Программы КПСС был принят Пленумом ЦК в июне, в газеты текст попал 30 июля.

Это было воскресенье. В «Современнике», который в ту пору именовался еще «театром-студией», шло «Третье желание», в Зеркальном театре сада «Эрмитаж» – легкомысленная «Девушка с веснушками». На вечер телевидение запланировало всенародный праздник – матч московских команд «Спартак» и «Динамо». Хотя их монополию уже нарушили торпедовцы, а в нынешнем сезоне к чемпионству резво шли киевляне, старая гвардия бурно волновала умы. Гагарин, распрощавшись с Фиделем, летел в Бразилию и по пути в этот день был с восторгом принят населением голландской колонии Кюрасао. Госполитиздат закончил выпуск 22-го тома Полного собрания сочинений Владимира Ильича Ленина со статьями о ликвидаторах, отзовистах и примиренцах. Никита Сергеевич Хрущев инспектировал сельское хозяйство. «В шесть часов утра, когда солнце только поднималось над степью, Н. С. Хрущев уже подъезжал к селу Екатериновка», где высокого гостя ждал председатель колхоза по фамилии Могильченко¹.

Любое из этих событий привлекало внимание читателей газет в такой большой стране, как Советский Союз, и все события поблекли перед главным – текстом проекта Программы КПСС. Потому что в жизнь каждого советского человека вторглась поэзия, призванная изменить жизнь такой большой страны, как Советский Союз.

¹ См.: Правда. 1961. 30 июля.

Новая Программа КПСС обещала построить коммунизм, и эта задача, собственно говоря, уже была выполнена самим произнесением сакральных слов: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!» Строительство утопии – и есть воплощение утопии, так как все, что для этого нужно, – наличие цели и вера.

Такое прочтение проекта Программы КПСС возможно только при подходе к тексту как к художественному произведению. В этом великая разница между проповедью и инструкцией. Инструкцию должно выполнять, проповеди достаточно внимать.

Проповедь о добре, благополучии и красоте жизни, которую несла новая Программа, наводила на сравнения с утопиями прошлого. Характерно, что обсуждения Программы в советской периодике практически не обходились без этого слова – «утопия», – хотя оно прежде носило явно негативный оттенок. Теперь слово и само понятие были реабилитированы: то, что раньше обозначало «несбыточную мечту», оставило за собой только значение «изображения идеального общественного строя». Вовсю мелькали имена Томаса Мора и Кампанеллы. В особой чести был итальянец: ведь это он впервые в истории трактовал труд как дело чести и насущную потребность человека. Он же предлагал применять к лентяям не только убеждение, но и принуждение («Кто не работает – тот не ест»). А герб Советского Союза был уже описан в «Утопии» Мора: серп, молот, колосья.

Новая редакция утопии – Программа КПСС – была универсальной, учитывая в самом буквальном смысле мысли и чаяния всех членов советского общества. Потребность в таком универсальном инструменте назрела.

Всегда перед страной стояли конкретные и внятные задачи: победить внешних врагов, победить внутренних врагов, создать индустрию, ликвидировать безграмотность, провести коллективизацию. Все это сводилось к общей идее построения социализма, вскоре после чего началась великая война – мощный импульс созидания через разрушение. Советский народ всегда что-то строил, попутно что-то разрушая: буржуазное искусство, попутчиков, кулачество как класс. XX съезд отнял у людей идеалы – маячил призрак великой смуты: священное имя Сталина, «вождя и вдохновителя всех наших побед», было дискредитировано. Страна пребывала в неясном томлении – без опоры, без веры, без цели. Со страной поступили нечестно, сказав как не надо, а как надо – не сказав.

В самом прямом смысле в конкретные цифры Программы никто не поверил. Но этого и не требовалось – по законам функционирования художественного текста. Но зато каждый нашел в Программе желаемое для себя. О чем же говорила Программа?

Целью она провозглашала строительство коммунизма – то есть общества, смыслом которого является творческое преобразование мира. Многозначность этой цели только увеличивала ее привлекательность. Творческое преобразование мира – это было все: научный поиск, вдохновение художника, тихие радости мыслителя, рекордная горячка спортсмена, рискованный эксперимент исследователя.

При этом духовные силы человека направлены вовне – на окружающий мир, неотъемлемой частью которого он является. И в качестве таковой человек не может быть счастлив, когда несчастливы другие.

Знакомые по романам утопистов и политинформациям идеи обретали реальность, когда любой желающий принимался за трактовку путей к светлой цели.

Художники-модернисты усмотрели в параграфах Программы разрешение свободы творчества. Академисты и консерваторы – отвержение антигуманистических тенденций в искусстве. Молодые прозаики взяли на вооружение пристальное внимание к духовному миру человека. Столпы соцреализма – укрепление незыблемых догм. Перед любителями рок-н-ролла открывались государственные границы. Перед приверженцами «Камаринской» – бездны патриотизма. Руководители нового типа находили в Программе простор для инициативы. Сталинские директора – призывы к усилению дисциплины. Аграрии-западники разглядели зарю про-

грессивного землепользования. Колхозные мракобесы – дальнейшее обобществление земли. Прогрессивное офицерство опиралось на модернизацию военной техники. Жуковские бонапартисты – на упомянутых в Программе сержантов.

И все хотели перегнать Америку по мясу, молоку и прогрессу на душу населения: «Держись, корова из штата Айова!»

Программа с мастерством опытного проповедника коснулась заветных струн в душе. Против предложенных ею задач нельзя было ничего иметь в принципе. Три цели, намеченные Программой, не могли не устраивать: построение материально-технической базы, создание новых производственных отношений, воспитание нового человека.

Первая задача обеспечивала благополучие без стяжательства. Облик погрязшего в плюшевых абажурах обывателя не нравился никому. Отрицание частной собственности превратилось из лозунга в категорический императив, и всем было ясно, что в правильном обществе правильные люди должны располагаться под светом торшеров изящного – даже не рисунка, а неведомого пока дизайна.

Новые производственные отношения предусматривали принцип соучастия. И Программа, в которой труд не разделялся с досугом, давала однозначный ответ. Только при таком характере труда возможно построение этой самой материально-технической базы.

Общий труд, сама идея общего дела была немыслима без искренности отношений человека с человеком. Это было ключевым словом эпохи – искренность. Моральный кодекс строителя коммунизма – советский аналог десяти заповедей и Нагорной проповеди – был призван выполнить третью главную задачу – воспитание нового человека. В этих библейских параллелях тексту Программы стилистически ближе суровость ветхозаветных заповедей. В 12 тезисах Морального кодекса дважды фигурирует слово «нетерпимость» и дважды – «непримиримость». Будто казалось мало просто призыва к честности (пункт 7), добросовестному труду (2), коллективизму (5); ко всему этому требовалась еще борьба с проявлениями противоположных тенденций (пункт 9)². Искренность обязана была быть агрессивной, отрицая принцип невмешательства, – что логично при общем характере труда и всей жизни в целом.

В том, что Программа обещала построить коммунизм через 20 лет, было знамение эпохи – пусть утопия, пусть волюнтаризм, пусть беспочвенная фантазия. Ведь все стало иным – и шкала времени тоже.

В этой новой системе счисления время сгущалось физически ощутимо. На дворе стоял не 1961 год, а 20-й до н. э. Всего 20-й – так что каждый вполне отчетливо мог представить себе эту н. э. и уже сейчас поинтересоваться: «Какое, милые, у нас тысячелетие на дворе?»

Изменение масштабов и пропорций было подготовлено заранее. С 1 января вступила в действие денежная реформа, в 10 раз укрупнившая рубль. 12 апреля выше всех людей в мировой истории взлетел Юрий Гагарин, за полтора часа обогнувший земной шар, что тоже оказывалось рекордом скорости. В сознании утверждалось ощущение новых пространственно-временных отношений.

Действительность в соответствии с эстетикой соцреализма уверенно опережала вымысел. Иван Ефремов, опубликовавший за четыре года до Программы свою «Туманность Андромеды», объяснял: «Сначала мне казалось, что гигантские преобразования планеты в жизни, описанные в романе, не могут быть осуществлены ранее, чем через три тысячи лет... При доработке романа я сократил намеченный срок на тысячелетие»³. Тут существен порядок цифр. Про тысячелетия знали и без Ефремова – то, что когда-то человечество придет к Городу Солнца, алюминиевым дворцам. Эре Великого Кольца. Потрясающе дерзким в партийной утопии был срок – 20 лет.

² Программа Коммунистической партии Советского Союза. Часть вторая, V, 1, в). Правда. 1961. 30 июля.

³ Ефремов И. *Туманность Андромеды*. М., 1984. С. 5.

Во «Введении» новой Программы сказано, о каких пространственных границах идет речь: «Партия рассматривает коммунистическое строительство как великую интернациональную задачу, отвечающую интересам всего человечества»⁴. Именно так – всего человечества.

Что касается временных пределов, они были четко указаны в последней фразе Программы: «Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!»⁵

«Нынешнее поколение» – это было ясно каждому. Это когда подрастут внуки. Когда женится сын. Когда станешь взрослым.

Публицист Шатров нарисовал картинку обсуждения проекта Программы:

Весть о высшем счастье человека стучится во все двери. Желанной и дорогой гостьей она входит в каждый дом.

– Читали?

– Слышали?

– Мы будем жить при коммунизме!⁶

Сценка довольно точно передает ощущение мозгового сдвига, возникающего при чтении Программы. Надо отдавать себе отчет в том, что никто и не заблуждался насчет построения коммунизма в 20 лет. Любой мог выглянуть в окно и убедиться в том, что пока все на месте: разбитая мостовая, очередь за картошкой, алкаши у пивной. И даже ортодокс понимал, что пейзаж не изменится радикально за два десятилетия.

Но Программа и не была рассчитана на выглядывание из окна и вообще на соотнесение теории с практикой. В ней отсутствует научная система изложения, предполагающая вслед за построением теории стадию эксперимента. Текст Программы наукообразен – и только. При этом философские, политические, социологические термины и тезисы с поэтической прихотливостью переплетаются, образуя художественное единство. Сюжет Программы построен как в криминальном романе, когда читатель к концу книги и сам уже понимает, кто есть кто, но все же вздрагивает на последнем абзаце, в сладостном восторге убеждаясь в правильности своей догадки:

– Читали?

– Слышали?

– Мы будем жить при коммунизме!

Положения Программы не доказывались, а показывались, апеллируя скорее к эмоциям, чем к разуму. Когда-то Каутский грустил о временах, «когда каждый социалист был поэтом и каждый поэт – социалистом»⁷. Эти времена диалектически возрождались на глазах поколения 60-х. Программа партии была безнадежно неубедительна логически, но доказывала верность обозначенной цели и выбранного пути самим своим появлением.

Сам факт существования Программы – при всех очевидных содержащихся в ней нелепостях – опровергал эти нелепости. Цифры Программы не соответствовали здравому смыслу, но вполне укладывались в законы волевого счисления.

Характерно, что самые впечатляющие положения Программы были отнюдь не самыми важными. Все говорили о том, что будет бесплатный транспорт, бесплатные коммунальные услуги, бесплатные заводские столовые. Дело, видимо, именно в прочтении Программы как художественного текста, в котором конкретные и вытнанные детали берут на себя функцию пересказа. Трудно пересказать своими словами лирическое стихотворение или дальнейшее разви-

⁴ Программа КПСС. Введение.

⁵ Там же. Часть вторая, VII.

⁶ Крокодил. 1961. № 24.

⁷ Цит. по: Ленин В. И. *Полн. собр. соч.*: В 55 т. 5-е изд. Т. 1. С. 271.

тие принципов социалистической демократии. Но вот с приключенческим рассказом или бесплатным проездом в автобусе это сделать куда проще.

Так же и в Моральном кодексе: запавшие в душу советского человека заповеди, которые чаще всего повторяются и пишутся на заборах, – это вовсе не самые главные тезисы. Это те, которые выражены афористически:

- кто не работает, тот не ест;
- каждый за всех, все за одного;
- человек человеку – друг, товарищ и брат⁸.

Эти кристаллы внятности вычленились из массы неудобоваримых формул, вроде «забота каждого о сохранении и умножении общественного достояния»⁹.

Программу КПСС читали немногие. О восприятии ее следует говорить, имея в виду пересказ текста – то есть то, что осталось в сознании после бесконечного бормотания по радио и телевидению, заклинаний в лозунгах и газетах. Конечно же, вышли в свет тысячи всяких научных трудов, трактующих Программу, но это фактор, который имеет отношение к пропаганде или карьере. Другое дело – сфера воображения.

Поэт Долматовский вопрошал:

Великая Программа, дай ответ,
Что будет с нами через двадцать лет?¹⁰

Вопрос кажется глупым: ведь как раз про это в самой Программе и написано. Но в том-то и дело, что по сути ее текст предназначен не для буквального восприятия, а именно для трактовки, пересказа про себя и вслух, переосмысления, для полета фантазии.

Лирик мечтал о том, что «все лучшее в эпохах прошлых в дорогу заберем с собой». Он складывал в романтический рюкзак «и Моцарта, и стынь есенинских берез»¹¹, отдавая дань интернационализму, партийности и почвенничеству.

Человек попроще размышлял о свободном столике в ресторане и отдельной квартире. «Нигде не скажут «нет мест». Задумал жениться – мать не спросит с удрученным видом: «А где жить-то будете?»¹²

Прямое воплощение идеалов 17-го года виднелось неисправимому комсомольцу. «Глаза Программы смотрят нам в глаза, в них – нашей революции метели»¹³.

В представлении сатирика мечты о совершенном обществе причудливо, но гармонично сочетались с тревогой о будущем своей профессии: «При коммунизме человека общественные суды будут приговаривать к фельетону!»¹⁴

Поэтическая энциклопедия тем и прекрасна, что каждый находит в ней свое, как Белинский находил что ему нужно в «Евгении Онегине».

Заботы сатириков, кстати, были самыми показательными. Предполагалось, что недостатки должны изживаться с нечеловеческой быстротой – то есть со скоростью, соответствующей новой шкале времени. Сатирики сбились с ног в поисках персонажей для фельетонов будущего. После долгих дебатов в качестве резерва духовного роста остались грубияны, рав-

⁸ Программа КПСС. Часть вторая, II, д).

⁹ Там же. Часть вторая, V, I, в).

¹⁰ Юность. 1961. № 9.

¹¹ Там же. Автор – Э. Иодковский.

¹² Там же. Автор – Евг. Наврот.

¹³ Там же. Автор – Вяч. Молодяков.

¹⁴ Крокодил. 1961. № 25. Автор – Л. Ленч.

нодушные, эгоисты. Остальных следовало забыть на перроне, когда государственный поезд отправится в коммунизм. Это так буквально и изображалось: перрон, а на нем пестрый стилига, синеносый алкоголик, толстая спекулянтка, прыщавый тунеядец. Все они задумчиво смотрели на отходящий состав с молодцеватыми пассажирами. Паровоз уезжал туда, где царствовали нестяжательство, братство, искренность. В новую Утопию.

Тридцатого июля 1961 года, когда страна прочла проект Программы КПСС, построение коммунистического общества этим и закончилось – то есть его построил каждый для себя, в меру своего понимания и потребностей. Во всяком случае, страна так или иначе применила Программу для насущных надобностей.

Жизнь предлагает художественные детали в загадочном обилии. 30 июля 1961 года в том же номере «Правды», где был напечатан текст Программы КПСС, нашлось место сообщению о выходе в свет очередного 22-го тома Полного собрания сочинений В. И. Ленина. Именно в этом томе содержатся слова вождя:

Утопия... есть такого рода пожелание, которое осуществить никак нельзя, ни теперь, ни впоследствии...¹⁵

Совпадение, конечно, символическое. Но вряд ли кто по-настоящему надеялся Программу КПСС осуществить – «ни теперь, ни впоследствии». Сам процесс, который именовался (всерьез или иронически) строительством будущего, продолжал творить небывалый в мировой истории феномен – советского человека.

¹⁵ Ленин В. И. *Указ. соч.* Т. 22. С. 117.

Путем пирамиды Космос

Российское коллективное сознание основывалось на двух главных символах: войне и храме.

Идея народной войны была мощной движущей силой и для рати Александра Невского на Чудском озере, и для войска на Куликовом поле, и для ополчения Минина и Пожарского, и для партизан 1812 года. И в советской России XX века священная народная война стала не просто образом в песне Александрова, но важнейшим аргументом в борьбе до победного конца.

С храмом дело обстояло хуже. Старые храмы упразднились с верой. Если и была иллюзия, что их смогут заменить новые партийные сооружения, то она стремительно исчезла – ввиду приземленной утилитарности решаемых в этих учреждениях задач.

Со старыми храмами поступали по-разному. Наиболее пылкие и идеалистически настроенные революционеры рушили церкви – не понимая, что активно творят мученические образы. Более практичные и трезвые превращали храмы в картофелехранилища и детские дома, не только используя готовую застройку, но и идя по пути осквернения святыни, что всегда более действенно, чем разрушение. В отдельных случаях власти поступали даже с остроумием и фантазией. Гордость России – воздвигнутый в честь победы над Наполеоном московский храм Христа Спасителя – не просто сровняли с землей. На его месте соорудили не клуб, не казарму, не райком – а бассейн, заменив возвышение углублением, гору пропастью, мужской символ женским. И зияющая впадина была залита стерильной хлорированной водой.

Но вертикальная картина мира присуща нашему сознанию еще больше, чем горизонтальная, потому что в плоскости наш кругозор может быть ограничен (например, суша – водой), а взгляд вверх безбрежен.

Кромлехи неолита, зиккураты Вавилона, пирамиды Египта, пагоды Китая, кафедры Европы – все это возвышало человека, устремляя его ввысь. И в той иерархии ценностей, которая неизменна столько, сколько существует человек, верх всегда противостоит низу со знаком плюс, как день – ночи, правый – левому, белый – черному, теплый – холодному. Универсальный знаковый комплекс заставляет человека задирать голову, даже если он опасается, что свалится кепка.

Культовые сооружения, призванные заменить утраченные храмы, так и не были построены в советской России. Магнитка и ДнепрогЭС были слишком служебными конструкциями: они варили обыденный металл и перекачивали банальную воду. Требовалась чистая идея – без утилитарной нагрузки.

Нужду в подвиге восполнил космос, тем более прекрасный, что для завоевания его не требовалось кровопролития. Да и вообще это деяние было универсальным – потому что не принадлежало простому смертному. В самих образах космонавтов причудливо смешались демократические запросы народного государства и религиозные каноны. С одной стороны, они были простыми парнями, из соседнего двора, обыкновенными, советскими. С другой – их окружали таинственность небожителей и высокие достоинства служителей культа.

Герои в Советском Союзе всегда призваны выполнять широкую просветительскую задачу. Допустим, токарю совершенно недостаточно ловко точить болванки: передовой токарь еще играет на виолончели. Рекордсмен не просто быстро бегают, но и пишет кандидатскую диссертацию по ферромагнетизму. Оперный бас берет на две октавы ниже всех других басов и при этом награжден медалью «За отвагу на пожаре». По мере продвижения вверх число достоинств увеличивается, стремясь к бесконечности. Именно поэтому про маршалов и членов Политбюро не известно ничего вообще, ибо недоступно умственному взору. (В скобках стоит вспомнить о попытках низвести богов до героев. Так, о Ленине сообщалось, что он ежедневно

в Швейцарии совершал по горным кручам прогулки в 70 и более километров. Мао Цзэдун погрузился в Янцзы, побив все мировые рекорды, при том, что во время заплыва дружески беседовал с рядом плывущими товарищами. Эти попытки были забыты как снижающие образ верховного существа.)

Космонавты – вознесшиеся буквально выше всех – должны были занимать промежуточное положение, сочетая рабоче-крестьянскую доступность и принадлежность к высшим сферам. Их начисто лишили даже подобия недостатков, и следует только удивляться тому, что первым в космос отправился человек с сомнительной по пролетарскому происхождению фамилией Гагарин, а вторым – человек с нерусским именем Герман. Однако все разъяснилось наилучшим образом. Смоленский крестьянин Гагарин как раз и утер нос своим однофамильцам-князьям, лишней раз доказав демократический характер советской России. Что касается Титова, то оказалось, что его отец увековечил в своих детях – Германе и Земфире – бессмертные образы великого русского поэта. Кстати, таким путем была внедрена ставшая постоянной линия повышенной интеллигентности космонавтов.

В начале 60-х существовало даже некое противостояние Гагарина и Титова. Первый был любимцем народа, второй – интеллигенции, покоренной иноземным именем, более заметной задумчивостью и его играющим на скрипке отцом. Но затем, после многочисленных полетов, стало ясно, что энциклопедичность знаний присуща всем космонавтам без исключения. Биограф новых героев пишет: «Как-то в беседе с Юрием Гагариным зашла речь о профессии космонавта. Он говорил, что космонавт не может, да и не должен замыкаться в какой-то одной области знаний. История, искусство, радиотехника, астрономия, поэзия, спорт...»¹⁶

Люди – от самых обычных до подвижников и героев – совершают по жизни горизонтальный путь. Путь вертикальный – удел мифологических персонажей.

В выборе и подаче космических кандидатов были проявлены такт и мудрость, причем еще до полетов человека. Самые популярные собачьи имена в России – иностранные, вроде Рекс или Джульбарс, но полетели наши, русские, теплые: Лайка, Белка, Стрелка и совсем уж домашняя Чернушка. Американцы опрометчиво запустили в космос обезьяну, которую нельзя полюбить, потому что она карикатура на человека, а не друг его, как собака.

Так же располагали к народной любви и космонавты-люди. Без объяснения причин каждый знал, что они добрые и умные. Например, о Павле Поповиче писали: «В дневниках Генриха Гейне он как-то прочел одну фразу...»¹⁷ Это производило впечатление: не стихи ведь Некрасова, а никому не ведомые дневники Гейне!

С другой стороны, никогда не пресекалась иная тема: о простых парнях.

Глухая ночь. Глубокий сон.
Два сердца бьются в унисон.
Рассвет невозмутим и тих.
Горячий завтрак на двоих¹⁸.

В этих стихах верен расчет на замирание: горячий завтрак, как у всех. Как Ахиллес делается ближе, но не ниже из-за своей уязвимости. Как Ленин: «Он, как вы и я, совсем такой же...» – и именно от таких слов встает неземной образ исключительности.

Космонавту № 1 Юрию Гагарину была уготована счастливая судьба. С его даром улыбки – шире, чем у американских президентов, – он стал вечным символом и принял божественные почести еще при жизни. Его имя, по сути, следовало бы писать с маленькой буквы, так

¹⁶ Ребров М. *Космонавты*. М., 1977. С. 9.

¹⁷ Там же. С. 43.

¹⁸ Стихи Валентина Вологодина. Там же. С. 23.

как оно превратилось в понятие. Причем понятие не такое, какими вошли в историю имена Моцарта как символа творчества, Ньютона – гения, Гитлера – злодейства, Макиавелли – коварства, Колумба – поиска и открытия. С именем Гагарина связано нечто неопределенное, имеющее отношение к высшей степени. Евтушенко мог написать про Боброва: «Гагарин шайбы на Руси»¹⁹, и этот образ необъясним, но понятен. Просто что-то очень хорошее, носящее всеобщий характер.

Это целиком соответствует тому характеру, который имело освоение космоса для советского общества.

Разумеется, присутствовал политический момент соревнования двух систем. Вроде бы там, в Америке, и нейлоновые рубашки дешевые, и телевизоры почти у всех, и с мясом без перебоев. А с другой стороны, чего не видели – того не знаем. Полет же в космос – факт непреложный, как непреложно и то, что они запустили своего Джона Гленна только через 10 месяцев после нашего Гагарина и через полгода после нашего Титова.

Наглядность советской победы ошеломила американцев, взволновавшихся еще раньше, в 57-м, когда СССР запустил спутник. На смену трезвому практичному Эйзенхауэру пришел размашистый гуманитарный Кеннеди, и космическая лихорадка началась. Она и закончилась почти одновременно. В Советском Союзе такой финальной вехой можно считать смерть Гагарина в 1968 году, хоть она и не имела никакого отношения к космическим полетам. Просто с уходом из жизни первого героя новой формации ушла и романтика космоса. Больше в СССР возбуждения в этой сфере не наблюдалось. Да, собственно, и не от чего было, так как полеты приняли отчетливо пропагандистский характер: то новый рекорд длительности, то в ракету посажен монгол – гальванизация идеи была уже невозможна.

Американцы закончили на торжественной ноте. 21 июля 1969 года Нил Армстронг ступил на Луну, и Штаты взяли реванш.

Но Армстронг явился в конце первого этапа космической эры, а до него мир обомлел от советских побед. И казалось, что это не просто полеты куда-то в небо, за какими-то научными исследованиями. Казалось, что сам прорыв – значителен и символичен. Так оно, конечно, и было. Интересно, что универсальность освоения космоса для всего общества сформулировал все-таки американец – президент Джонсон. Он сказал: «Если мы посылаем человека к Луне, то, значит, можем помочь старушке с медицинской страховкой»²⁰.

Научно-технический прогресс как панацея от всех бед – мысль не новая. Еще немного, еще чуть-чуть – и заколосятся груши на вербе, и добрые роботы выкопают на тучных полях сладкие корни, и человечество затрубит в рог изобилия.

Для советского человека космос был еще и символом тотального освобождения. Разоблачен Сталин, напечатан Солженицын, выпущены транзисторные приемники, идет разговор об инициативе и критике. Выход в космос казался логическим завершением процесса освобождения и логическим началом периода свободы. Ощущение силы и беззаветной веры в нее сказывалось во всем: в стихах, сибирских стройках, первых хоккейных успехах.

Вовсю звенела капель оттепели, ораторы рассуждали о возврате к ленинским нормам, пример молодой Кубы возрождал светлую память революции. И сама революция – в соответствии с техническим веком – воспринималась космично:

Россия тысячам тысяч свободу дала.
Милое дело! Долго будут помнить про это.
А я снял рубаху,
И каждый зеркальный небоскреб моего волоса,

¹⁹ Евтушенко Е. *Идут белые снеги...* М., 1969. С. 409.

²⁰ Цит. по: The New York Times Book Review. 1985. 7 апреля. С. 409.

Каждая скважина
Города тела
Вывесила ковры и кумачовые ткани.
Гражданки и граждане
Меня – государства...
...Радуясь солнцу, смотрели сквозь кожу²¹...

Так понимали революцию не только Хлебников, но и Платонов, Заболоцкий, Циолковский: как тотальное освобождение всего – даже атомов. Циолковский, почитаемый в СССР лишь как первый теоретик космических полетов, излагал мысли о полном преобразении личности и общества через уход в космос, где составляющие человека частицы соединятся в новом, более совершенном и гармоничном сочетании.

Подсознательно нечто подобное ощущалось: сама идея освоения космоса возвышала и облагораживала человека. И никто, разумеется, не обращал внимания на разговоры о научных экспериментах. От этого как раз хотелось отмахнуться, обратив свои душевные силы именно к чистоте и бескорыстия идеи. Как обращал просветленный взор человек иных эпох к пирамиде, пагоде, собору – символам стремления к высшим образцам, которые помогут преобразить жизнь внизу по своему идеальному подобию.

Двенадцатого апреля 1961 года недоступное и вечно желанное небо стало ближе. Оно перестало быть прежним, потому что Гагарин оплодотворил его – как мужчина оплодотворяет женщину, но в этом было целомудрие и красота древнего мифа. Тогда, в 61-м, это действие стало высшей – буквально – точкой порыва к свободе и задало высокие стандарты стремления к ней.

Когда все стандарты были отменены, то сама идея покорения космоса исчезла, хотя космические полеты продолжают. Дело, вероятно, в том, что осквернение святыни всегда более действенно, чем разрушение ее.

В одном древнем мифе рассказывается о том, что когда-то небо лежало близко от земли, но люди вытирали о него грязные руки, и оно ушло ввысь.

²¹ Велимир Хлебников. *Я и Россия*. Цит. по письму Н. Заболоцкого К. Циолковскому от 18 января 1932 г. В кн.: Заболоцкий Н. *Избр. произв.*: В 2 т. М., 1972. Т. 2. С. 237.

Соавтор эпохи Поэзия

Главным поэтом эпохи был Хрущев. Стихов он, правда, не писал – только мемуары. Поэты-автократы известны современной истории. Мао Цзэдун, Хо Ши Мин, Агостиньо Нето, Юрий Андропов. Через много лет после смерти Сталина выяснилось, что и он писал стихи. К счастью – очень плохие. «К счастью» – потому что иначе образ Сталина в исторической перспективе приобрел бы дополнительные нюансы.

Хрущев стихов не писал, но был поэтом в высшем смысле, дав творческий импульс, выразившийся в простых, как и подобает истинной поэзии, словах: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!»

В словах и делах Хрущева была простота, которая вдохновляла лучшие образцы русской гражданской поэзии:

И на обломках самовластья напишут наши имена, –

предсказывал Пушкин.

Пускай нам вечным памятником будет
Построенный в боях социализм, –

завещал Маяковский.

Нынешнее поколение советских людей
Будет жить при коммунизме! –

обещал Хрущев.

В области стихотворной формы Хрущев пошел своим путем, предпочтя хромой хорей заезженному российскому ямбу.

Задача и цель предложенной с партийной трибуны программы была так или иначе ясна каждому. Но как невозможно объяснить в любви текстом Морального кодекса, так и вся повседневная жизнь требовала иного, чем сухие директивы, словесного выражения.

Хрущев был главным поэтом эпохи. А ее поэтический конспект составил Евгений Евтушенко.

Евтушенко сумел просто и доступно разъяснить народу – что же происходит в стране и мире. Даже у самих преобразователей кружилась голова от крутых виражей и зигзагов, а чем дальше от Кремля, тем непонятнее и неожиданнее все становилось. Это противоречило неторопливой российской мудрости: «Тише едешь – дальше будешь», «Жизнь прожить – не поле перейти...» Ходячие истины пословиц и поговорок, кажется, полностью исчерпывают потребность в анализе событий и явлений – благодаря своей языковой завершенности, абсолютной, как идеальный шар, гармоничности. На уровне удобных и внятных формул происходит постижение мира, и Евгению Евтушенко удалось эти формулы найти.

Похоже, он очень рано осознал свое назначение. Характерно, что начинал Евтушенко с программных и соответствующих времени стихов. Шло время холодной войны, и 16-летний Евтушенко в 1949 году дебютировал в «Советском спорте» антиамериканскими стихами. Характерно и то, что стихи были именно о спорте. Спорт был той легальной формой войны, в которой уместно было употреблять агрессивно-наступательную лексику. Разумеется, имели значение и личные пристрастия поэта, который чуть было не сделал профессиональную

карьеру футболиста. На протяжении десятилетий Евтушенко писал стихи о боксе, альпинизме, конькобежном спорте. (Заметим в скобках, что другой народный поэт послевоенной России, Владимир Высоцкий, тоже много и охотно писал о боксе, альпинизме, конькобежном спорте.)

Потрясающая общественная чуткость Евтушенко направляла его на слабые участки фронта борьбы за новое. В советской поэзии уже не оставалось лирики, и он, Евтушенко, стал первым лирическим поэтом оттепели. И на этом пути он единственный раз отступил от требований эпохи. Забылся. Забыл, что ведет конспект.

Сборники «Шоссе Энтузиастов» (1956), «Обещание» (1957), «Стихи разных лет» (1959), «Взмах руки» (1962), «Нежность» (1962) сохранили лирические стихи Евтушенко – ту поэзию, до уровня которой он так и не поднимался в следующие годы. Но те строки, вместе с пришедшими несколько позже песнями Окуджавы, впервые за много лет показали отвыкшим от нормальных слов людям, что лирика – это не только когда ждут пропавшего без вести на фронте.

Людей неинтересных в мире нет.
Их судьбы – как истории планет:
у каждой все особое, свое,
и нет планет, похожих на нее²².

И стихов, похожих на эти, тогда не было. То есть были, конечно, но не выходили соты-сячными тиражами. Все это было захватывающе ново:

А после ты любишь, а может быть, нет,
а после не любишь, а может быть, любишь,
и листья и лунность меняешь на людность,
на липкий от водки и «Тетры» пакет²³.

Получалось совсем как у Ремарка, но чувства поэта были незаемными. В них была безыскусность и простота эмоций, что-то вроде пронзительной лирики блатных песен.

Целое поколение советских людей твердило, как заклинание:

Ты спрашивала шепотом:
«А что потом?
А что потом?»
Постель была расстелена,
и ты была растерянна...²⁴

А потом в стране началась лавина лирических стихов. И уже стало трудно разбирать, чем Евтушенко отличается от Эдуарда Асадова. Тогда, в начале 60-х, это было ясно безусловно. Хотя и тогда стихи Евтушенко и Асадова были похожи. Но первым руководил импульс переходной идеологии. В лирике это означало прославление любви вплоть до добрачных связей и супружеской измены. А Асадов привычно и надоедливо бубнил: «Они студентами были, они друг друга любили» – причем так, чтобы было ясно, что «любили» в самом бестелесном значении.

Но хотя высшие поэтические достижения Евтушенко остались именно в области интимной лирики, он рожден был не для звуков сладких и молитв, а именно для житейского

²² Евтушенко. С. 124.

²³ Там же. С. 90.

²⁴ Евтушенко Е. *Наследники Сталина*. Лондон, 1964. С. 94.

волнения. Его, как и Маяковского, увлекла стихия преобразований. При этом Евтушенко, будучи поэтом более скромного дарования, в каждый момент полностью контролировал свои поступки.

Моя поэзия, как Золушка,
забыв про самое свое,
стирает каждый день, чуть зорюшка,
эпохи грязное белье²⁵.

В этой декларации все честно и верно – в первую очередь удручающее качество стихов. Поэзия Евтушенко все чаще забывала про самое свое, все больше ее влек конспект эпохи. Поэт находил адекватные задачи дня, формулировки, не упуская ничего важного и значительного.

Советский Союз увлеченно следил за событиями на Кубе:

Фидель, возьми меня к себе
солдатом Армии Свободы!²⁶

Проникновение западной массовой культуры волновало умы:

Что мне делать с этим парнишкой,
с его модной прической парижской,
с его лбом без присутствия лба,
с его песенкой «Али-баба?»²⁷

Интеллигенция воевала с ретроградами за передовое искусство:

Мы лунник в небо запустили,
а оперы в тележном стиле²⁸.

Страна потрясена хрущевскими разоблачениями и страшится повторения сталинизма, и Евтушенко пишет в «Наследниках Сталина»:

И я обращаюсь к правительству нашему с просьбой:
удвоить, утроить у этой плиты караул...²⁹

Ширится и растет борьба с бездельниками и тунеядцами:

Закон у нас хороший есть:
«Кто не работает – не ест!»³⁰

Молодежь живо интересуется Западом:

²⁵ Евтушенко Е. *Собр. соч.*: В 3 т. М., 1983. Т. 1. С. 284.

²⁶ Цит. по: Аннинский Л. *Заметки о молодой поэзии*. Знамя. 1961. № 9.

²⁷ Евтушенко. *Идут белые снеги...* С. 236.

²⁸ Евтушенко. *Наследники Сталина*. С. 106.

²⁹ Правда. 1962. 21 октября.

³⁰ Юность. 1963. № 9. С. 57.

Этой девочке ненавистен
мир – освищенный моралист.
Для нее не осталось в нем истин.
Заменяет ей истины – «твист»³¹.

Всегда болезненна была для России проблема еврейства и антисемитизма:

Ничто во мне про это не забудет!
«Интернационал» пусть прогремит,
когда навеки похоронен будет
последний на земле антисемит³².

Этому стихотворению Евтушенко обязан своей мировой славой. «Бабий Яр» был моментально переведен на все языки мира. Крупнейшие газеты мира дали сообщение о «Бабьем Яре» на первых страницах – «Нью-Йорк таймс», «Монд», «Таймс»... Западный мир, в котором отношение к евреям стало пробным камнем цивилизации, пришел в восторг. Буквально в один день Евтушенко стал всемирной знаменитостью. Хотя за год до этого поэт объездил множество стран, читал стихи в США, Франции, Англии, Африке, только скромная публикация в «Литературной газете» 19 сентября 1961 года сделала Евтушенко суперзвездой. (Интересно, знал ли он, что на этот день выпал Йом Кипур – Судный день, в иудаизме день покаяния в грехах?)

Алексей Марков, напечатавший в газете «Литература и жизнь» отповедь «Бабьему Яру»³³, вынужден был отменить свои поэтические вечера из боязни физической расправы. По рукам ходили стихи – ответ Маркову.

И вот другой садится за чернила,
но по бумаге яд в стихах разлит.
В стихах есть тоже пафос, страстность, сила,
звучат слова «пигмей», «космополит»...³⁴

Космополит Евтушенко мог торжествовать – он стал народным трибуном. Именно тогда его стали критиковать, ругать, поносить по-настоящему. И именно тогда на его выступление однажды пришли 14 тысяч человек. Именно тогда он выступал по 250 раз в год. И кто-то из эпиграммистов мог с полным основанием почтительно пошутить:

То бьют его статьею строгой,
то хвалят двести раз в году.
А он идет своей дорогой
и бронзовеет на ходу³⁵.

Это была слава.

В отличие от Есенина, который хотел «задрать штаны бежать за комсомолом», Евтушенко сам вел комсомол и всю передовую общественность страны. К слову говоря, ему трудно было бы задрать штаны: тогда поэты были во всем первыми – брюки у них были самые узкие,

³¹ Евтушенко Е. *Нежность*. М., 1962. С. 48.

³² Литературная газета. 1961. 19 сентября.

³³ Литература и жизнь. 1961. 23 сентября.

³⁴ Цитируем по памяти.

³⁵ Эпиграмма напечатана в журнале «Юность» в 60-е годы. Цитируем по памяти.

идеи самые прогрессивные, слова самые смелые. Один западный корреспондент, замороженный трибунным чтением Евтушенко, сказал, что он мог бы возглавить временное правительство. Наверное, это так – но лишь по форме, не по содержанию. По содержанию Евтушенко преобразователем и революционером не был. Он шел в фарватере эпохи, которая требовала лозунга. И толпа, которая всегда слышит громогласный призыв, а не отданный вполголоса приказ, смотрела снизу вверх на своего лидера – поэта.

И лидер так же нуждался в аудитории, как и она в нем. Его строки рассчитаны на прочтение вслух. Это ораторские речи, слегка зарифмованные – благо процветала ассонансная рифма. Сам Евтушенко считал, что изобрел что-то в области стихосложения, даже писал о какой-то «евтушенковской» рифме³⁶. Но все это неверно, да и не важно, потому что при чтении на стадионе ветер относит окончания слов.

Трудно себе представить, что тогдашние поэты изучали античные риторикки, но действовали они именно в соответствии с их указаниями. «Оценить речь, основанную на знании, есть дело образованных, а здесь, перед толпой, это невозможно. Здесь мы непременно должны вести доказательства и рассуждения общедоступным путем»³⁷.

Нам не слепой любви к России надо,
а думающей, пристальной любви!³⁸ –

это было доступно.

Установка на риторикку, на помощь трибун давала немедленные результаты, разочаровывая будущих читателей. И тут все предусмотрел Аристотель: «Речи ораторов, даже если они имели успех, кажутся неискренними в руках; причина этого та, что они пригодны только для устного состязания»³⁹. В соответствии с законами риторикки, заботы о точности и красоте стиля были не только необязательны, но и излишни – как не следует заботиться о прорисовке каждого листика при изображении отдаленного леса.

Это было время самородков. Стихийные бунтари темпераментом и напором искупали недостаток поэтического мастерства и образования. Мог же Евтушенко написать – да еще для французского журнала! – что Артюр Рембо перестал писать стихи, потому что стал работником⁴⁰. Мало того, что Рембо торговал не рабами, а кофе, но и причина здесь перепутана со следствием.

Дело тут, видимо, в том, что то же требование эпохи, которое побуждало к интимной лирике и гражданскому горению, требовало и красоты – в любом ее, самом экзотическом, воплощении. В стихи Евтушенко с начала 60-х хлынули потоки кальвадоса, перно, атлантических волн, тихоокеанских прибоев, в которых, как в водовороте, закружились работоторговцы Рембо, парижские красавицы, африканские пальмы. Все это было заманчивое, хоть и не наше – и только постепенно становилось нашим, как для Маяковского, который считал себя «в долгу перед бродвейской лампией». Евтушенко ощущал этот новый мир своим приобретением и щедро делился с читателем впечатлениями о твисте, луковом супе, встрече с Хемингуэем.

В «Автобиографии» поэта, в истории публикации «Бабьего Яра», есть небольшая характерная деталь. Евтушенко рассказывает, как ждал из типографии свежего номера «Литературы» со стихами, как целовался с печатниками, как потом «сел со своим приятелем в свою

³⁶ Евтушенко Е. *Автобиография*. Лондон, 1963. С. 40.

³⁷ *Античные риторикки*. М., 1978. С. 17–18.

³⁸ Евтушенко. *Идут белые снеги...* С. 209.

³⁹ *Античные риторикки*. С. 149.

⁴⁰ Евтушенко. *Автобиография*. С. 11.

старенькую машину. И вдруг – о, чудо! – я обнаружил на сиденье бутылку «Божоле»... Мы откупорили бутылку, выпили ее прямо в машине»⁴¹.

Так тогда было нужно. Именно французским вином должен был праздновать победу над антисемитами настоящий русский поэт.

Боль и ответственность за все на свете были насущной необходимостью для тогдашнего поколения поэтов. Евтушенко, по его собственному признанию, влюбился в Беллу Ахмадулину, когда она сказала: «Революция больна. Революции надо помочь»⁴². И они помогали той революции, которая потом предала их.

Евтушенко принес в жертву своей праведной борьбе самое важное и дорогое – талант и поэтическое мастерство. Он не создал своей метафорической системы, своего ритма, своей строфы, своей тематики. Хотя и мог. По своей поэтической потенции – несомненно, мог. Но он был лишь соавтором эпохи.

Хрущев, по чьему личному указанию были напечатаны в «Правде» в 62-м году «Наследники Сталина», может в той же мере, что и Евтушенко, считаться автором этих стихов. Потому что кроме факта опубликования в «Правде» других достоинств у «Наследников Сталина» нет. В поэзии Евтушенко почти физически ощущается его лихорадочная торопливость – успеть сделать все как надо. Не завтра, не для завтра, а сейчас и для сейчас. Хрущев с поэтическим легкомыслием разрешал все проблемы посадками кукурузы, а за ним уже спешил Евтушенко:

Весь мир – кукурузный початок,
похрустывающий на зубах!⁴³

Они были соратники и соавторы – поэт-преобразователь Хрущев и поэт-глашатай Евтушенко.

В своем последнем всплеске – «Братской ГЭС» – Евтушенко сделал попытку эпоса, а на деле создал несколько хороших лирических стихотворений, спрятанных в 5000 строк про турбины и пирамиды.

Тот импульс, который возносил поэта к толпе, уже угасал. Евтушенко не продался и не предал идеалы. Он и не мог их предать, потому что его идеалом было максимальное соответствие обществу, полное растворение в нем. Наоборот – общество предало Евтушенко, потому что перестало нуждаться в трибунах. Революция закончилась.

Кипение мощной природы не дало поэту перейти из революционеров в бюрократы, что обычно происходит. Евтушенко остался один со своим ярким и ненужным дарованием, выветренным на стадионах. Как точно он написал в одном из ранних стихотворений:

Мне страшно, мне не пляшется.
Но не плясать – нельзя⁴⁴.

В Большой Советской Энциклопедии про Евгения Евтушенко сказано: «В лучших стихах и поэмах Е. с большой силой выражено стремление постигнуть дух современности»⁴⁵.

Это правда. Слишком безусловна была зависимость поэта от эпохи.

⁴¹ Там же. С. 136.

⁴² Там же. С. 106.

⁴³ Евтушенко Е. *Яблоко*. М., 1960. С. 47.

⁴⁴ Евтушенко Е. *Взмах руки*. М., 1962. С. 231.

⁴⁵ БСЭ. 3-е изд. Т. 9. С. 30.

Интервенция



Березовые пальмы Европа

Термин «ренессанс», который часто прилагали к 60-м, предусматривает возрождение чего-то прекрасного, что было временно забыто. Но что именно? Когда? И почему?

От ответов зависел облик эпохи, которая звала вперед, но при этом все время оглядывалась. Потому что пафос ее выражала память.

Хрущев разрешил стране вспоминать еще на XX съезде. Когда после XXII съезда ему поверили – началась пора мемуаров.

Новости тогда искали не в свежих газетах, а в стенографических отчетах 30-летней давности. Героями дня опять стали Киров и Ежов, Фрунзе и Ягода. История предстала страшной запутанной авантюрой, но в распоряжении тех, кто следил за ее развитием, наконец оказалась последняя страница.

Эпилог, подписанный Хрущевым, придавал советской истории видимость завершенности. Россия – между Лениным и Хрущевым – казалась законченным эпизодом, как наполеоновская империя или гитлеровская Германия.

Но, конечно, никакие документы, никакие архивы, никакие мемуары не восстанавливают прошлое. Они формируют настоящее, создавая миф о прошлом.

От того, что возрождал ренессанс 60-х, зависело, каким он будет. Отчетливее всех это понимали старые писатели, которые однажды уже пережили коренную ломку общества.

Среди множества мемуарных томов в 60-е вышли «Жили-были» Шкловского, «Повесть о жизни» Паустовского, «Трава забвения» Катаева и главная – «Люди, годы, жизнь» Эренбурга.

Главная не потому, что самая лучшая, и не потому, что самая правдивая. Мемуары Эренбурга были программой строительства новой советской культуры. И именно так ее восприняли враги и друзья.

Сталинская культура – противоречивый клубок, составленный из Маяковского, музыкальной классики, академической живописи, натуралистического театра. В этом легко увидеть хаос.

На самом деле устойчивую социальную систему обслуживал адекватный ей стиль – сталинский классицизм, по недоразумению названный соцреализмом. Его нормативная поэтика объединяла культуру на всех уровнях – от эпитета до архитектуры.

Враги народа, война, Сталин – все это придавало жизни отчетливый героический фон. На этом фоне был органичен даже несгибаемый секретарь райкома. Он входил в древнюю поэтическую систему – Аяксы, Ахилл, Гектор...

Ярким примером стилистической мощи может и даже должна служить повесть Эренбурга «Оттепель». Написанное в 1954 году и переведенное на множество языков (в том числе – финский, телугу, иврит), это произведение вряд ли справедливо оценили современники. По сути, и свои и зарубежные читатели удовлетворились одним названием – «Оттепель». Это слово, как «спутник», вошло в политический словарь и стало обозначать историческую веху.

Но все же, кроме заголовка, Эренбург написал и текст, очень характерный, даже символический. Автор, не выходя за рамки классицизма, попытался по-новому эксплуатировать его идейную сущность. Герои Эренбурга вдохновлены конфликтом долга с чувством не в меньшей степени, чем персонажи Корнеля. Если конфликта нет, они мужественно борются, чтобы его создать.

«Моя жизнь – завод», – говорит отрицательный персонаж. «Я, может быть, разбираюсь в станках, но с чувствами плохо»⁴⁶, – вторит ему положительный. Теперь не так-то просто разобраться где кто, потому что классицистская поэтика всех объединила своей стихией.

Не важно, что происходит в повести, не важно, какие монологи произносят ее герои. Существенно лишь то, что хочет сказать автор. Потому что классицизм – это всегда аллегория.

В данном случае автор говорит, что любовь – не помеха повышению производительности труда. Или еще короче: объявляет, что наступила оттепель. То есть – цитирует название повести.

⁴⁶ Эренбург И. *Оттепель*. Собр. соч.: В 9 т. М., 1962–1967. Т. 6. С. 59, 11.

Именно триумфальный успех этой книги Эренбурга показывает, каким прочным был стилиевой стержень сталинской культуры.

«Оттепель» – последний аккорд гармонического искусства 50-х. Она завершила этот этап, но даже не намекала, куда идти дальше.

Чтобы ренессанс 60-х состоялся, советской культуре нужно было открыть свою античность – свои прототипы. И она их нашла.

Сталинская культура существовала в стилиевом вакууме. Когда ее границы стали рушиться, на растерявшегося зрителя и читателя обрушилось западное искусство разных эпох и направлений. Моне, Кафка, Сартр, Пикассо – все они предстали современниками, модернистами, агрессорами.

Разностилевую западную культуру объединяло одно качество – она была отличной от норм советской культуры. Ее надо было приспособить к советскому обществу, вращать в контекст правильной идеологии. Или – выкорчевать.

Спор об отношении к западному влиянию стал войной за ценности цивилизации. Речь шла уже не о направлении или школе, а об историческом месте России на карте мира. Грубо говоря, где проходит граница Европы – по Уралу или по Карпатам?

«По Уралу!» – заявил Илья Эренбург и написал «Люди, годы, жизнь».

Сам Эренбург был мифом – советский европеец. Как апостол Павел, с которым его часто сравнивали, Эренбург принадлежал двум мирам.

В 60-е эта раздвоенность позволила ему стать пророком. Эренбург мечтал присоединить советскую Россию к европейской цивилизации.

Автор «Оттепели», завершивший классицистский период советской культуры, он открывал ее следующий этап в не менее аллегорическом ключе. Только теперь олицетворения пороков и добродетелей носили имена прославленных писателей, художников, ученых.

То, что хотел сказать и сказал Эренбург, очень просто: Россия – часть Европы. Вклад ее в создание европейской культуры огромен. Это – ручей, река, пусть даже водопад, но вливается российский поток все же в общее море. Нет никаких препон между востоком и западом Европы, кроме тех, которые устроили неумные люди по обе стороны границы.

Тут нет ничего нового, ничего особенного, ничего крамольного. И все же Эренбургу потребовалось полторы тысячи страниц, чтобы доказать этот тезис. Тезис оказался крамольным.

В своих мемуарах Эренбург принципиально не делает различия между советским и несоветским, между русским и нерусским. Его герои перемешаны самым причудливым образом. Бальмонт, Пикассо, Есенин, Модильяни, Ленин, Эйнштейн. Поэты, художники, политики. Россия, Франция, эмиграция.

Все в этой грандиозной панораме должно служить концепции единого мира, в котором лишь талант и стиль различают людей и идеи.

Для Эренбурга, космополита, обжившего глобус, земля есть братство художников, преобразующих лоскутную карту в единый глобус искусства. Народы «разделяют не мысли, а слова, не чувства, а форма выражения этих чувств: нравы, детали быта»⁴⁷.

Эренбург страстно доказывал, что русские не хуже и не лучше Европы – просто потому, что русские и есть Европа. С наслаждением он перечисляет русские имена парижских художников, не забывает упомянуть славянских жен иностранцев. Ему дорого, что Бабель говорит по-французски, что Алексей Толстой разбирается в тонких винах, что Мейерхольд и Эйзенштейн покорили Запад. Когда он пишет, что «парижане считали советское искусство наиболее передовым»⁴⁸, то имеет в виду не российский приоритет, а торжество искусства без границ.

⁴⁷ Эренбург И. *Люди, годы, жизнь*. Собр. соч.: В 9 т. Т. 8. С. 112.

⁴⁸ Там же. С. 478.

Как его любимое бургундское, творчество разливается по бутылкам разной формы и цвета, но вино от этого не становится другим.

«Мы – это они! Они – это мы!» – кричал Эренбург на разных языках, в разных странах, в разное время. Советская история интерпретировала эти слова в зависимости от ситуации. Иногда как призыв к мировой революции, иногда как «убей немца», иногда как безродный космополитизм.

В 1961 году эта концепция вылилась у Эренбурга в формулу: «Береза может быть дороже пальмы, но не выше ее»⁴⁹.

На самом деле тогда советская интеллигенция была уверена, что пальма выше. Прошло немного лет, и утвердилось мнение, что выше все-таки береза. В этих ботанических спорах определялась историософская модель России.

Эренбург провозглашал: СССР не есть остров, изолированный от остального человечества во времени и пространстве. «История изобилует ущельями, пропастями, а людям нужны хотя бы хрупкие мостики, связывающие одну эпоху с другой»⁵⁰, – писал Эренбург и с наслаждением строил эти мостики. Не только западная, но и русская культура ждала своего второго открытия. И Эренбург азартно открывал. Волошин, Цветаева, Мандельштам, Андрей Белый, Ремизов, Мейерхольд и множество других вошли в сознание советского общества из «энциклопедии» Эренбурга, которая была полней Большой Советской.

Он показывал, что темным сталинистским векам предшествовал другой мир. Красочный, великолепный, веселый, ослепительный, как Атлантида.

Так начался ренессанс.

Эренбург распоряжался богатствами мировой культуры с тем произволом, который позволяет первооткрывателю давать имена новым землям. (Потом, конечно, это ему припомнили – и избирательность памяти, и снисходительные нотки, и прекрасно освоенную, даже воспетую им «науку молчания». Но не сразу.) Впрочем, Эренбург и не настаивал на объективности своих мемуаров. Он создавал программу, а программа обязана быть тенденциозной. Ключевым моментом этого построения была, конечно, революция.

В космополитической утопии Эренбурга социализм нельзя было обойти. Но его можно было пристроить.

Эренбургу это сделать было проще, чем другим: он знал, что такое капитализм: «Я возненавидел капитализм; это была ненависть поэта...»⁵¹

Что ненавидят поэты больше всего? Деньги. Толпу. Пошлость. Буржуев.

«Может быть, русские первые низвергнут власть денег»⁵², – говорит французский поэт молодому Эренбургу. И действительно низвергли – подтверждает старый Эренбург всей книгой.

Революция уничтожила вечную зависимость творца от буржуа, говорит он. Расчистила путь к всемирному братству художников, раскрепостила фантазию, раздвинула художественные границы, дала народу искусство. И все это потому, что революция отменила деньги.

На Западе есть свобода, но и есть собственность. Буржуям не нужно искусство, им нужен комфорт. Поэтому только богема достойна представлять древнюю европейскую цивилизацию.

В Советском Союзе народ освободили от собственности в государственном масштабе. «Никогда люди так плохо не жили, и, кажется, никогда у них не было такого творческого горения»⁵³.

⁴⁹ Эренбург И. *Долг памяти* (выступление по московскому радио в связи с 70-летием, 26 января 1961). Цит. по: Мосты. 1966. № 12.

⁵⁰ Эренбург. *Люди, годы, жизнь*. С. 174.

⁵¹ Там же. С. 528.

⁵² Там же. С. 89.

⁵³ Там же. С. 351.

Конечно, революция, уничтожив одни преграды, построила другие, тоже внушительные. Но Эренбург никогда не забывает главного – денег-то нет. Поэтому: «Будущее, конечно, принадлежит Советскому Союзу»⁵⁴, – вслед за героем «Оттепели» повторяют многочисленные персонажи эренбурговских мемуаров.

Чтобы оправдать революцию, нужна была глобальная позитивная идея, пусть даже выраженная в негативной форме. В интерпретации Эренбурга коммунизм освобождает человечество от антипоэтического мироощущения. Аристократы духа могут быть голодными, измученными – даже мертвыми! – но они не опустятся до унижительной зависимости от рынка. А если опустятся, значит – это ложные аристократы.

Революцию, объясненную таким образом, можно было приспособить и к борьбе со Сталиным, и к войне с мещанством. К тому же она не мешала воссоединению с Европой. Младший брат бунтует против старшего, но семья одна. Причем если у нас культ личности, то у них «культ благополучия». У нас он кончился, у них – нет.

Не зря Эренбург так сочувственно цитирует слова Брюсова о том, что «социалистическая культура будет отличаться от капиталистической культуры так же сильно, как христианский Рим от Рима Августа»⁵⁵. Христианство ведь тоже призывало к отмене денег и границ.

В своих мемуарах Эренбург срачивал социализм со свободой, Россию с Европой, поэзию с революцией. Во всяком случае, так казалось читателям 60-х. Неудивительно, что критикам это не понравилось.

Уже в 63-м году они писали: «Автор «Люди, годы, жизнь» выдвигает на первый план искусство модернизма в различных видах...», «У автора есть пафос объяснения западных модернистских направлений в их связях с западной действительностью. Но в мемуарах нет пафоса объяснения нового русского искусства». И главное – «У Эренбурга ничего не остается от национальной самостоятельности»⁵⁶.

Критик хорошо понял Эренбурга – программный характер мемуаров был очевиден для тогдашнего читателя. Спор сразу же перешел к сущности этой программы, а не к деталям ее выражения.

На протяжении 1500 страниц Эренбург строил миф, стремясь собственным примером обосновать возможность жить гражданином мира, не отказываясь от красного паспорта, совместить коммунизм с гуманизмом, сохранить мораль дореволюционного интеллекта, не нарушая советские законы.

В ответ «Литературная газета» ему справедливо указала на недопустимость ухода «от самых волнующих злободневных вопросов: о партийности и народности...»⁵⁷.

С партийностью Эренбург еще попробовал разобраться во второй половине своих мемуаров. С народностью за него разобралась эпоха.

В начале 60-х космополитическая мечта Эренбурга окрыляла советскую культуру. Открытие шедевров советского искусства, его триумфы 40-летней давности придавали значительность еще куцей новой волне. Ренессанс смотрит в прошлое, даже чужое, без зависти, только с восхищением. Ему нужны образцы. Французская живопись, итальянское кино, американская проза – все это насыщало советскую культуру новыми формами, заново открывало истинный реализм, который был так чужд теократическому соцреализму сталинского общества.

Эренбург доказывал, что и отсталая Россия внесла свой вклад в это богатство. Причем Россия левая, революционная, наша. Красная нить, которую он протягивал чуть ли не от Ради-

⁵⁴ Эренбург. *Оттепель*. С. 52.

⁵⁵ Эренбург. *Люди, годы, жизнь*. С. 228.

⁵⁶ Ермилов В. *Необходимость спора*. Литературная газета. 1963. № 3.

⁵⁷ Литературная газета. 1963. № 5.

щева в 60-е годы, стала путеводной. Нужно было только очистить традиционную, интеллигентскую, «протестантскую» культуру от позора пресмыкательства.

Новая жизнь должна была стать разнообразной, веселой, духовной и честной. То есть такой – по мнению 60-х, – какой ее видели декабристы, Чехов, Маяковский. Если и в прошлом были такие блистательные минуты, какие описывал Эренбург, то каким же ослепительным будет будущее?

Этого не знал никто, но догадки строили многие. Не зря публицист тех лет радостно восклицал: «Несчастливых – к ответу». «У нас в стране сейчас такая праздничная обстановка. Как же можно позволить себе жить серо, скучно или быть несчастным? Общество потребует от каждого, чтобы он жил с наслаждением, с азартом, чтобы страсти кипели и мышцы играли»⁵⁸.

Бодрый интернациональный дух, который так хотел привить Эренбург советской культуре, отнюдь не развратил ее декадентскими настроениями, как опасались тогда ретрограды. Напротив, он помог ей встать на ноги после тяжелых унижений сталинских лет.

Но, очнувшись, культура эта свернула в сторону. Выяснилось, что в веселой атмосфере праздника забыли про национальные корни. Если партийность еще можно было обвести вокруг пальца, то народность – никогда.

Один ренессанс сменился другим. На этот раз путь лежал не вовне, а вглубь – к смутным, но дорогим истокам.

Поздние 60-е отвергали открытия ранних с тем пылом, который позволил американскому путеводителю сделать сакраментальный вывод: «Для русских «родина и народ» означает то же, что для англосакса – «свобода и демократия»⁵⁹.

⁵⁸ Нуйкин А. *Ты, я и счастье*. Сибирские огни. 1963. № 1. С. 112.

⁵⁹ *USSR. Fbdor's modern guides*. Inc. New York. 1984, p. 56.

Метафора революции Куба

В 60-е Запад, выйдя из газетных клише, воплотился во вполне конкретных плащах «болонья», жевательной резинке, шариковых ручках.

Буржуазная культура – многолетнее пугало пропагандистов – явилась лентами Феллини, страницами Сэлинджера, гитарами «Битлз».

И самое поразительное – с Запада повеяло романтикой революции. Так причудливо складывалась судьба России, что даже величайшее событие в своей истории – революцию – страна получила в 60-е обратно, в виде импорта, с маленького острова в Карибском море.

До Фиделя никакой Кубы для русского человека не было. В Западном полушарии была Америка – то есть Соединенные Штаты, – это точно. Остальное растворялось в кофейном аромате, голосе Лолиты Торрес, восторженном щебетанье футбольных кличек: Пеле, Диди, Вава.

Латинская Америка ворочалась под толщей расстояний и чуждых культур, потрясая своими редкими явлениями. Так появлялись великие монументалисты: Ривера, Сикейрос, Орско. Так потом отодвинули усталых европейцев мощные книги Маркеса, Фуэнтеса, Астуриаса.

На подступах к 60-м Латинская Америка удивила мир и социальным произведением – Кубинской революцией. Привыкший к суеде банановых республик в духе О. Генри, Запад вначале так же несерьезно отнесся и к переменам на вест-индском острове.

Появление Фиделя Кастро в качестве нового правителя Кубы ничем особенно не удивило. Он сделал несколько обязательных заявлений о счастье народа, походя обругал империализм США и СССР⁶⁰, что было принято в среде стран, ищущих «третий путь» развития. Кастро отмежевался от коммунистов⁶¹ – и это было в порядке вещей, так как сахар у Кубы покупала Америка. Три четверти экспорта составлял сахар, половину посевов занимал сахар, от сахара зависела жизнь. Кто мог тогда, зимой 1959 года, предвидеть, что не пройдет и двух лет, как желтоватый тростниковый сахар поплывет в обратную сторону – в Советский Союз. Правительство Эйзенхауэра благосклонно приняло визит Кастро в Штаты, не зная – как и он сам, впрочем, – что через год-два кубинский премьер будет обниматься с Микояном, Хрущевым и Евтушенко, а немного позже весь земной шар повиснет на волоске, протянутом от этого острова, который весь целиком поместился бы в одном штате Пенсильвания.

Советский Союз и сам мог бы разместить Кубу в Таджикской ССР. Известно о ней было ничтожно мало, это уже потом, как водится, выяснилось, что у Кубы с Россией давние связи. Что еще в середине XVIII века там побывал просветитель Федор Каржавин. Ничего очень лестного он про тамошних жителей не написал, отметил, что облик их «показывает задумчивость и уныние. Они по чрезвычайной своей лени почти ничем убеждены быть не могут к оказанию услуги Европейцу... Паче всего надобно остерегаться, чтобы их чем-либо не оскорбить, потому что мщению не знают пределов»⁶².

За два века народ Кубы преобразовался, хотя склонности к мщению не утратил. Наблюдавший за кубинскими делами российский человек, переживший опыт своих революций и войн, это качество никогда не считал излишним. Правда, в 60-е слова «ненависть» и «возмездие» несколько увяли, утратив свою былую романтическую привлекательность. В моде был гуманизм, но лишь немногие заметили деловитый энтузиазм Фиделя Кастро: «Мы намерены

⁶⁰ В 1959 г. Кастро объединял в отрицании обе сверхдержавы: «... В течение ближайших лет жизненный уровень кубинцев превысит уровень жизни в США и России, потому что эти страны значительную часть своих экономических ресурсов вкладывают в производство вооружения» (Кастро Ф. *Речи и выступления*. М., 1960. С. 111–112).

⁶¹ «А что можно сказать о тех, кто в провокационных целях приклеивает нам ярлык коммунистов?» (Там же. С. 146.)

⁶² Цит. по: Рабинович В. *С гишпанцами в Новый Йорк и Гавану*. М., 1967. С. 31.

как можно скорее покончить с расстрелами, чтобы затем всю свою энергию отдать созидательному труду. Я постоянно тороплю трибуналы, чтобы уже в марте мы могли объявить, что значительное число военных преступников примерно наказано, а остальные будут осуждены на каторжные работы... Расстреливать – это справедливо, но не это основная задача революции»⁶³.

Может быть, советские люди были благодарны Фиделю уже за то, что он отнес расстрел к числу второстепенных задач? И потом – как же без расстрелов вообще? В одной из самых модных пьес 60-х, поставленной в «Современнике», наркомы голосуют за декрет о терроре.

Луначарский. Самое трудное для коммуниста – быть жестоким. Сколько клятв о беспощадной мести мы дали у братских могил! И все же не поднималась рука. Но сейчас чаша переполнена. Рука должна подняться.

Ногин. Я смотрю на Дзержинского – мука, а не работа. Ему легче себе приговор подписать, чем другому, и все-таки подписывает...

А когда наркомы обсуждают судьбу стрелявшей в Ленина Фанни Каплан, уникальную юридическую формулировку произносит женщина.

Коллонтай. По окончании следствия – расстрелять⁶⁴.

Выходило, что расстреливать надо. За это были даже такие интеллигенты, как Луначарский, Чичерин, Красин. Страна заново изучала революцию, мучительно стараясь понять – как вышло, что так легко и искренне начатое дело перешло в угрюмый кровавый обман.

Очень соблазнительно было счесть, что какой-то сбой, ошибка, искажение произошли по пути; что вначале все и задумано, и даже сделано было правильно и хорошо; что, во всяком случае, благие намерения, переполнявшие революционеров, были честны и поэтичны.

Тому, что революция была актом чистым и творческим, подтверждения находили: козыри литературы и искусства. Самый авангардный поэт 60-х, Вознесенский, казался воплощением Маяковского. В Театре на Таганке с аншлагом шли «Десять дней, которые потрясли мир». Из забвения извлекались имена Хлебникова, Татлина, Лисицкого. Читающую Россию потрясло открытие Платонова.

Тогда, в 60-е, зарубежный русский исследователь писал: «В поэзию Цветаевой революция вплелась добавочной хроматической нитью, дополняющей взволнованность и сложность ее словесного рисунка. Мандельштаму революция открыла путь к творческому хаосу псевдоклассической оды, Хлебникову – к простоте разговорного языка, Пастернаку – к непочатому источнику метафорического материала – повседневности. Каждый из них по-своему улавливал свойства вынесенной на поверхность языковой руды взорванного революцией российского космоса»⁶⁵.

Смерть, казни, расстрелы признавались ужасным, но – не безоговорочно: рождение и смерть неминуемо тесно связаны, а революция – это именно тяжкий процесс родов. Ощущение великих перемен заставляло не так пристально всматриваться в темные оттенки общего яркого спектра. Джон Рид в дни октября 1917 года заглянул в кино: «Шла итальянская картина, полная крови, страстей и интриг. В переднем ряду сидело несколько матросов и солдат. Они с детским изумлением смотрели на экран, решительно не понимая, для чего понадобилось столько беготни и столько убийств»⁶⁶. Точно так же молодого большевика поражала суэта вокруг смерти старухи-процентщицы у Достоевского: о чем, собственно, беспокоиться?⁶⁷

⁶³ Кастро. С. 113 (речь от 17 февраля 1959 г.).

⁶⁴ Шатров М. *Большевики*. В кн.: Шатров М. *18-й год*. Пьесы. М., 1974. С. 164, 162, 165.

⁶⁵ Райс Э. *Максимилиан Волошин и его время*. В кн.: Максимилиан Волошин. *Стихотворения и поэмы*: В 2 т. Париж, 1982. Т. I. С. LXXXIV. Вступительная статья Э. Райса датирована 1965 г.

⁶⁶ Рид Дж. *Десять дней, которые потрясли мир*. М., 1968. С. 315–316.

Революция – дело творческое, а ведь романисту ничего не стоит нарезать персонаж или живописцу взмахом кисти убрать фигуру. Коллективное творчество революции, через край бьющее гиперболами, метафорами, гротеском, приносило своих – живых – персонажей в жертву жанру⁶⁸.

Инструментом искусства 60-е поверяли революцию, проводя экскурсии в прошлое, перенося исторические события и лица в настоящее. И тут жизнь предложила еще одну метафору, теперь уже не временную, а пространственную – Кубу.

Появился полигон, на котором можно было переиграть собственное прошлое. Полигон, существующий в настоящем, пусть и в таком отдаленно-неведомом – в ином полушарии. Это была поистине «чудесная реальность»⁶⁹, как назвал латиноамериканское бытие кубинец Алехо Карпентьер.

На этом «сюрреалистическом континенте»⁷⁰ все было волшебным, и волшебной казалась издали Куба, где «Ягуар подходит к воде, чтобы напиться, а Крокодил протягивает рыло свое из воды, дабы Ягуара поймать...»⁷¹.

Земля, дышащая мифами, должна производить нечто грандиозное. И революция на Кубе стала ярким событием для советского человека 60-х: мощный творческий импульс социального переворота связался с экзотикой дальних морей.

Портреты Фиделя и Че висели в домах. Все знали слова лихой песни барбудос:

Куба, любовь моя,
Остров зари багровой!
Песня летит над планетой, звеня.
Куба, любовь моя!

Слишком многое в сознании работало на популярность Кубинской революции в СССР. Простота и красота испанского языка завораживала русских. Язык напоминал о самом романтическом периоде советской истории – Испанской войне. И как тогда все знали «Но пасаран!», так теперь «Патриа о муэрте!».

К Кубе имел отношение главный русский писатель 60-х – Хемингуэй.

Даже Дон Кихот казался как бы кубинцем. Тот Дон Кихот, сходство с которым старательно придавалось в театре и кино обновленным 60-ми героям революции – сухощавым ленинцам с острой бородкой. Хотелось верить, что Кубинскую революцию делают интеллигенты – как и русскую. Те исполненные доброты и суровой нежности люди, которых затем безжалостно истребили мрачные малограмотные злодеи с кавказским акцентом.

Велись поиски параллелей: остров Куба – Республика Советов как остров в кольце врагов; футуристы – абстракционисты; Маяковский – плакаты, которые «очень напоминали наши РОСТА»⁷²; мы создавали революционную науку историю – они завели себе новую географию⁷³; мы боролись с махизмом – они с мухализмом⁷⁴; у нас кухарка собиралась управлять государ-

⁶⁷ «...Безайс взялся как-то читать «Преступление и наказание» Достоевского. Дочитав до конца, он удивился. – Боже мой, – сказал он, – сколько разговоров всего только из-за одной старухи» (Кин В. *По ту сторону*. Чита, 1957. С. 15).

⁶⁸ В этом смысле характерно бесстрастное высказывание девочки у Платонова: «Плохих людей всех убивать, а то хороших очень мало» (Платонов А. *Котлован*. Анн-Арбор (США), 1973. С. 64).

⁶⁹ См.: Карпентьер А. *Мы искали и нашли себя*. Художественная публицистика. М., 1984.

⁷⁰ Выражение Андре Бретона. Там же. С. 16.

⁷¹ Цит. по: Рабинович. С. 37.

⁷² Гайдар Т. *Из Гаваны по телефону*. М., 1967. С. 82.

⁷³ «У нас привыкли преподносить абстрактную географию. /Теперь/ удалось написать географию, которая не отделена от крестьянина, не отделена от человека... Нам рассказывали о вершинах гор, существующих в природе, но не о болотах, образовавшихся в обществе» (Кастро. С. 244; речь на юбилее Спелеологического общества).

⁷⁴ Эусебио Мухаль – профсоюзный лидер при Батисте. «Нужно уничтожить в рядах рабочего класса малейшие следы

ством – у них «мальчик озабочен, как министр»⁷⁵. И, совсем уже мешая все на свете, писал Евтушенко:

Но чтоб не путал я века
и мне потом не каяться,
здесь, на стене у рыбака,
Хрущев, Христос и Кастро!⁷⁶

Расположившиеся, как два разбойника по сторонам Иисуса, бородатый кубинский партизан и лысый советский премьер сливались воедино в порыве преобразования общества.

Кубинская революция легко стала метафорой революции Октябрьской, потому что сам по себе революционный переворот подчиняется законам искусства и диалектики. Один поэт – поэма, много поэтов – революция.

Поэтический характер кубинских событий был налицо: прежде всего в беспорядке и анархии. Еще во время своей первой попытки – 26 июля 1953 года – бойцы Кастро ясным утром заблудились на городских улицах и провалили атаку на казармы Монкада. В ноябре 56-го 82 человека во главе с Фиделем отплыли из Мексики на шхуне «Гранма» и прибыли вовсе не туда, куда намеревались. В результате 70 из 82 были убиты или взяты в плен.

Такое знакомо и русским революционерам, которые утром 7 ноября 1917 года захватили военное министерство, не проверив чердак, где весь день держал связь по радио с Зимним дворцом и всеми фронтами офицер, который, «узнав, что Зимний пал, надел фуражку и спокойно покинул здание»⁷⁷.

Три поколения пели песню про матроса-партизана Железняка: «Он шел на Одессу, а вышел к Херсону...»⁷⁸ От Одессы до Херсона – даже по прямой, через море – 150 км.

При этом все-таки и Гавана, и Одесса с Херсоном, и Зимний дворец – захвачены и покорены. Как пишет свидетель революции Максимилиан Волошин:

В анархии – все творчество России.
Европа шла культурою огня,
А мы в себе несем культуру взрыва.
Огню нужны – машины, города,
И фабрики, и доменные печи,
А взрыву, чтоб не распылить себя, –
Стальной нарез и маточник орудий.
.....
Поэтому так непомерна Русь
И в своеволии, и в самодержавьи.
И в мире нет истории страшней,
Безумней, чем история России.

И еще – о людях, которые способны творить такую историю:

Политика была для нас раденьем,
Наука – духоборчеством,

мухализма. Мухализм нужно уничтожить в корне» (Кастро. С. 231).

⁷⁵ Е. Евтушенко. *Гавана, мне не спится, а тебе?* В кн.: Евтушенко. *Нежность*. С. 127.

⁷⁶ Хемингуэевский герой. Там же. С. 141.

⁷⁷ Рид. С. 349.

⁷⁸ *Партизан Железняк*. Слова М. Голодного, музыка М. Блантера. В кн.: *Песенник*. М., 1951. С. 87.

Марксизм – догматикой,
Партийность – аскетизмом.
Вся наша революция была
Комком религиозной истерии⁷⁹.

Комплекс донкихотского своеволия и безрассудства, «необычайность великого этого безумия»⁸⁰ – в деятелях революции. Дантон, Троцкий, Кастро... Они ниспровергали – это в первую очередь. Но и творили.

Алехо Карпентьер вспоминает слова кубинского поэта Рубена Мартинеса: «Новое искусство? – говорил он. – Новая поэзия? Новая живопись? Хорошо. Но... А может, лучше для начала поговорить о Новом Человеке? Куда девают они Нового Человека, когда утверждают эти новые ценности, которые станут действительно новыми лишь тогда, когда приведут к освобождению нового человека, обновленного новым порядком вещей?»⁸¹

К тому времени, когда кастровские партизаны спустились с высот Сьерра-Маэстры, такой Новый Человек уже существовал. Это был советский человек. Социальный феномен, та самая толпа, масса, то «интеллектуальное мулатство»⁸², которого так брезгливо сторонятся революционные эстеты, не замечая, что сами активно творят эту новую толпу, Нового Человека.

Главнейшим завоеванием революции была отмена частной собственности. Именно этим обобществлением имущества начинается, заканчивается и исчерпывается победа социалистической революции⁸³.

Отмена частной собственности, лишив человека самой идеи «своего» и тем уравнивая с окружающими, точно так же лишенными «своего», в конечном счете повлекла за собой изменение структуры личности⁸⁴. Уэллс однажды высказал догадку:

Большевикам придется перестроить не только материальную организацию общества, но и образ мышления целого народа... Чтобы построить новый мир, нужно сперва изменить всю их психологию⁸⁵.

В те же годы другой оказавшийся в России англосакс записывал слова Ленина: «Если социализм может быть осуществлен только тогда, когда это позволит умственное развитие всего народа, тогда мы не увидим социализма даже и через пятьсот лет...»⁸⁶

Ленин вступил в заочную дискуссию с Уэллсом, доказывая, что незачем сперва менять психологию, а потом строить – все можно делать одновременно.

⁷⁹ Максимилиан Волошин. *Россия*. В кн.: Волошин. С. 350–351, 348.

⁸⁰ Сервантес Сааведра М. де. *Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский*. Часть первая. М., 1955. С. 508.

⁸¹ Карпентьер. С. 153.

⁸² Выражение Рубена Дарио, характеризующее массу, противостоящую художнику. Цит. по: Карпентьер. С. 27.

⁸³ Примечательно признание Волошина в «Автобиографии»: «... Я почувствовал себя очень приспособленным к условиям революционного бытия и действия. Принципы коммунистической экономики как нельзя лучше соответствовали моему отращиванию к зарплате и купле-продаже» (Волошин. С. СХI).

⁸⁴ «Каждое из сколько-нибудь значительных гностических и иных учений, обладающих целостным мировоззрением, имеет свою физиономию, свою особую, ему одному свойственную атмосферу, благодаря которой даже посторонние часто узнают его приверженцев или помещения, в которых проходят их собрания. Так, например, многие из нас узнают по одному лишь внешнему виду квакеров, буддистов, масонов или психоаналитиков – потому что долгое общение с каким-либо учением и на самом деле накладывает на человека свойственный ему отпечаток – в наружности, жестах, словах, поведении. До последней войны (Второй мировой), когда коммунизм еще был идеалом, имевшим искренних, даже фанатических сторонников, а не был лишь путем к устройству легкой карьеры, как теперь, – и коммунистов часто можно было распознать по внешнему виду» (Райс. В кн.: *Волошин*. С. LXXIII).

⁸⁵ Уэллс Г. *Россия во мгле*. М., 1958. С. 74.

⁸⁶ Рид. С. 499.

Сам коллективистский характер революционного творчества (один поэт – поэма, много поэтов – революция) предполагал обобществление не только орудий труда и предметов потребления, но и идей, помыслов, надежд.

Можно сказать, что коллективизм подавляет личность. А можно сказать – трансформирует в нечто качественно иное. Отмена частной собственности и ее последствия произвели действие, противоположное ходу эллинско-христианской цивилизации. Столь схожие заповеди Морального кодекса строителя коммунизма и Священного писания имеют существеннейшее различие: христианство апеллирует к личности, социализм – к коллективу.

Казалось, что реальный социализм отвечает естественному чувству самосохранения, и человек готов отдать свою частную собственность на вещи и мысли за коллективную безопасность, за круговую поруку общего дела, за ощущение причастности.

Достаточно диктору призвать к тому, чтобы зрители не оставляли у себя мячей, ибо нужно экономить валюту, которую тратят на мячи, как это выполняют все. И даже когда мяч выбивают на улицу, его возвращают. Когда наш народ был таким?⁸⁷

Фидель Кастро, блестящий пропагандист, выбирает незначительную деталь с бейсбольными мячами: это все жизнь, будни, быт.

Только миф разом дает ответ на все вопросы. И лишенный «своего» человек вознаграждается комфортом жизни в мифологизированном обществе. Такому человеку легче жить, потому что он всегда точно знает, как относиться к первичности материи и покрою пиджака, к свободе воли и белому стиху, к математическим абстракциям и абстрактной скульптуре, к вопросам пола и цвету потолка, к химере совести и вкусу соуса.

Успех Фиделя Кастро, оказавшегося не эфемерным диктатором, к каким привыкли в Латинской Америке, а стабильным лидером, объясняется тем, что он пошел по проверенному Советским Союзом пути коллективного мифологизированного сознания.

Надо сказать, Кастро пришел к этому не сразу. Захватив власть 1 января 1959 года, Фидель только 16 апреля 1961 года объявил Кубинскую революцию социалистической. Этому активно содействовали американцы, на чьем фоне Советский Союз выглядел заботливым другом страны. Экономические санкции США против Кубы – а в противовес визит Микояна, обещающего 100-миллионный кредит. Американская поддержка отрядов кубинских эмигрантов – а в противовес советская военная помощь Фиделю⁸⁸. И наконец, в апреле 61-го – сражение на Плайя-Хирон.

Там, в бухте Кочинос (по-русски – в заливе Свиной), проиграл Запад и победил СССР, хотя и сражались кубинцы с кубинцами. Врангель снова был сброшен в море, несмотря на Антанту.

Но если взять шире: одержал верх Новый Человек, созданный революцией.

Тогда Куба стала совсем советской. В пивных расширяли ее имя: Коммунизм у Берегов Америки. Фиделя звали Федей. А главное – 60-е взяли Кубу на вооружение для борьбы с внутренними врагами. Стране мешали бюрократы и чиновники – им противодействовали демократичные коммунисты Западного полушария⁸⁹. Сталинисты зажимали новое искусство – Фидель нес абстракционизм в массы⁹⁰. Наши лидеры бубнили по бумажке – их молодые майоры

⁸⁷ Кастро. С. 477.

⁸⁸ В первые годы Кубинской революции военная помощь исходила не напрямую от СССР, а от Чехословакии. «Парень, просияв, ткнул меня пальцем в галстук: – Чеко!.. В те дни меня не раз принимали за чеха. За чеха меня принимали отчасти потому, что для кубинцев «Правда» легко превращалась в Прагу, а главное – советских людей в апреле 1961 года на Кубе было еще немного» (Гайдар. С. 24, 26).

⁸⁹ «Все парадное и сановное, / революция, побори!..Напыщенность или скука – / Тоже контрреволюционеры!» (*Революция и пачанга*. Евтушенко. С. 133).

⁹⁰ «... Кабинет Фиделя завален абстрактными картинами, и это нисколько не мешает ему быть коммунистом» (Померанцев

выдавали речи экспромтом. Ортодоксы любовались фонтаном «Дружба народов» – из Гаваны пришла идея Нового Арбата. Журналы «Огонек» и «Крокодил» попрекали молодежь за волосатость – у них даже премьер был с бородой⁹¹.

Но главным врагом всех революций – Октябрьской, Кубинской и 60-х – было мещанство. Идея стяжательства была по самому святому – идее равенства. С мещанством боролись отчаянно, злобно, неутомимо, тасуя аксессуары (абажур, граммофон, сервант) по фельетонам, стихам, карикатурам, вне зависимости от эпох и условий. Призывали на помощь пролетария Горького: «Если Человек похитит огонь с небес – Мещанин освещает этим огнем свою спальню... Человек исследует жизнь звука – Мещанин делает для своего развлечения граммофон...»⁹² Воскрешали очищающий порыв, которому противостояла жалкая контрреволюция: «Каминская заводит граммофон, звучит пошленькая шансонетка»⁹³. Импульсивные кубинцы даже жизнь отдавали борьбе с вредной звукозаписью:

И вот, туда ворвавшись с револьвером,
у шансонетки вырвав микрофон...⁹⁴

Кубинская революция становилась метафорой не только Октябрьской, но уже и ее современной реинкарнации – либеральной, оттепельной революции 60-х. Битва у Плайя-Хирон произошла в тот же памятный 61-й год, который отмечен победами: XXII съездом, Программой КПСС, полетами Гагарина и Титова, «Бабьим Яром» Евтушенко, «Звездным билетом» Аксенова.

Уже следующий, 62-й, год связал Кубу с угрозой войны, когда Карибский кризис миновал, зато кризис наступил в восприятии Кубы советским человеком. Уже утомлял их бородастый задор, в пивных уже объясняли, что «мы всех их кормим». Выяснилось, что своей свеклы достаточно и на сахар, и на самогон, а вот хлеба стало явно не хватать. На мотив «Куба, любовь моя» зазвучали совсем другие слова:

Куба, отдай наш хлеб!
Куба, возьми свой сахар!
Нам надоел твой косматый Фидель.
Куба, иди ты на хер!

А еще позже, с затуханием революции 60-х, потускнели и образы 17-го года, и кубинские образцы. Импортный революционный пыл – как любой импорт – оказался явлением временным, преходящим. Разумеется, не в кубинцах тут дело. Просто идея чистоты революции сперва была подвергнута сомнению, а затем и вовсе дискредитирована.

Фидель продолжал быть Фиделем: водил джип, не брил бороды, говорил без бумажки. Но это уже были частные кубинские дела, совсем в другом полушарии.

К. *Во что верит советская молодежь?* Новый журнал. 1965. № 78).

⁹¹ «Барбудос читают Маркса. / Он тоже барбудо!» (*Деды-Морозы в Гаване*. Евтушенко. С. 163).

⁹² Горький М. *Собр. соч.*: В 30 т. Т. 5. С. 488.

⁹³ Шатров М. *Именем революции*. В кн.: Шатров. С. 257.

⁹⁴ Евтушенко Е. *Три минуты правды*. Комсомольская правда. 1962. 21 ноября.

Перевернутый айсберг Америка

60-е Америки не знали, но в нее верили. Огромная, еще не открытая страна целиком помещалась в радостном подтексте советского сознания⁹⁵.

После смерти Сталина две сверхдержавы шли навстречу друг другу в стремительном темпе.

1955 – начинает выходить пустой, но прекрасный журнал «Америка». Ленинград наслаждается премьерой «Порги и Бесс».

1957 – живые американцы гуляют на Московском фестивале.

1958 – Никсон посещает Россию.

1959 – Хрущев триумфально влетает в Вашингтон на «ТУ-114». («Наше радио начинает свою работу с передачи уроков гимнастики, американское телевидение – с передачи уроков русского языка»⁹⁶.)

Выставка достижений США в Москве (длинные, как миноносцы, машины цвета «брызги бургундского»!).

1962 – «Великолепная семерка» на советских экранах.

1963 – убийство Кеннеди ощущается в России своей трагедией (из заводской стенгазеты: «Сообщило Би-би-си: Убит Кеннеди в такси...»).

Друзьями советского народа становятся Рокуэлл Кент и Ван Клиберн. Тройню называют в честь космонавтов – Юрий, Герман, Джон. Культовой книгой опять становятся путевые заметки Ильфа и Петрова «Одноэтажная Америка». Со стола советского человека не сходит дар Нового Света – кукуруза. Американец – герой политического анекдота. Без Америки не обходится ни одна речь Хрущева: коммунизм недостижим, пока СССР не обгонит США.

Главным же американцем в советской жизни был Эрнест Хемингуэй. В его книгах советские читатели нашли идеалы, сформировавшие мировоззрение целого поколения. Стиль его прозы определил стиль шестидесятников.

С 1959 года, когда в Москве вышел двухтомник его произведений, Америка и Хемингуэй стали в России синонимами.

То, что 60-е вычитали из Хемингуэя, имело мало отношения к его творчеству.

Российский читатель давно был привержен к внесюжетному чтению. Для него писатель – автор определенного образа жизни, а не определенного литературного произведения.

Внесюжетное толкование литературы позволяет писателя расширять, углублять, растягивать.

История нашей словесности невозможна без учета того, что читатели вычеркивают из книг и что добавляют. Но если это учитывать, то получится история социальных движений, которая почти буквально совпадает с литературной модой.

Хемингуэй, который и без того так много сделал, чтобы избавиться от сюжета, вряд ли мог предвидеть, как радостно русские читатели перевернут знаменитый айсберг и как решительно они пренебрегут надводной частью.

⁹⁵ В начале 60-х часть советской молодежи осваивала Америку, не пересекая государственную границу, – так называемые «штатники»: «В те времена, о которых идет речь, две пуговицы на концах воротника и, желательнее, еще одна сзади, на шее, значили очень много. Эти пуговицы, обязательно перламутровые, обязательно с вдавленной серединой и обязательно с четырьмя дырочками в своей неопределенности мечты о прекрасной стране моста Голден-Гейт в Сан-Франциско и Эмпайер-Стейт билдинга, Дэйва Брубэка и Майлса Дэвиса, Фрэнка Синатры и Эллы Фицджеральд, автомобиля «Студебекер» и жевательной резинки «Ригли», Скотта Фицджеральда» (Хургин Б. *Ностальгическая сага*. Новое русское слово. 1985, 10 ноября).

⁹⁶ Аджубей А. и др. *Лицом к лицу с Америкой*. М., 1959. С. 25.

60-е оставили себе от Хемингуэя антураж, географию, стиль. Их интересовало не содержание диалогов, а их форма, не суть конфликтов, а авторское отношение к ним.

Хемингуэй существовал не для чтения. Важны были формы восприятия жизни, выстроенные писателем. Формам можно было подражать. В них можно было влить свой контекст.

60-е не просто реабилитировали некогда запретного Хемингуэя. Они перевели на русский не столько его книги, сколько стиль его жизни. При этом писателем распоряжались с тем произволом, который может оправдать только любовь.

Подражание Хемингуэю начиналось с внешности. Можно сказать, что 60-е вообще начались с проблем моды. Стиляги были первыми стихийными нонконформистами.

Общественному движению нужна эмблема, способная отразить самые характерные черты эпохи. В этом смысле «обезьяний галстук» оказался синонимом XX съезда, а башмаки на рифленой микропорке соответствовали принципам раскрепощения личности. Монумент, изображающий юношу с пышным коком, в брюках-дудочках и канареечных носках, мог бы вместе с эком в ватнике представлять эпоху реабилитации. Но, к сожалению, все, что осталось от первых нонконформистов, – их диковинные клички, запечатленные фельетонистами «Огонька», – Бифштукс, Будь-здоровчик, Гришка-лошадь...»⁹⁷

Хемингуэевская мода была следующим шагом. Она не удовлетворялась перечнем аксессуаров – грубый свитер, трубка, борода. Все это желательно, но необязательно, важнее подчеркнутое безразличие к одежде. Отказ от стандартного костюма означал пренебрежение к внешнему лоску. Хемингуэевская система ценностей исключала торжественное отношение к жизни. Жить спустя рукава проще в свитере, чем в пиджаке.

Когда Ив Монтан приехал в Москву, он выступал в черном джемпере – о пустяках не поют в смокинге. И даже Хрущев официально костюму предпочитал вольготную украинскую рубаху.

Мода копировала не только известный портрет Хемингуэя, но и его внутреннее содержание. Подражали не внешности, а отношению к внешности. Поэтому так мало галстуков в гардеробе бывших шестидесятников. Для них этот невинный лоскут – символ капитуляции.

Новый стиль не случайно начинался с одежды. Ядром его было новое отношение к материальному миру.

Советский человек слишком долго жил среди идей, а не вещей. Предметы всегда были этикетками идей, их названиями, часто аллегориями.

Стиляги, придавшие вещам самоценное значение, демонстрировали уже более реалистический подход. Поэтому в милиции их и спрашивали: «Что ты хочешь этим сказать?» Вещь без смысла и умысла казалась опасным абсурдом.

Хемингуэевский мир изобилует предметами, за которыми не стоят идеи. Вещи здесь ничего, кроме себя, не изображают: «Мы пообедали в ресторане Лавиня, а потом пошли пить кофе в кафе «Версаль»⁹⁸. Точность хемингуэевской топографии соответствует бессмысленной определенности карты. Об этом он с наслаждением сам говорит: «Это, кстати сказать, не имеет никакого отношения к рассказу»⁹⁹.

(Русская литература и сама полна такими ни к чему не имеющими отношения деталями. Но ведь не без уроков Хемингуэя мы научились по-настоящему ценить Чехова.)

Хемингуэевская проза ощущалась бунтом материального мира против бестелесной духовной жизни. У Хемингуэя постоянно пьют, едят, ловят рыбу, убивают быков, ездят на машинах, занимаются любовью, воюют, охотятся.

⁹⁷ См.: Огонек. 1961. № 21.

⁹⁸ Хемингуэй Э. *Фиеста (И восходит солнце)*. Собр. соч.: В 4 т. М., 1968. Т. 1. С. 500.

⁹⁹ Там же. С. 574.

В сталинской кулинарной книге сказано: «Правильное питание положительно сказывается на работоспособности человека»¹⁰⁰. У Хемингуэя едят, потому что вкусно.

С Хемингуэем в Россию пришла конкретность бытия. Спор души с телом стал решаться в пользу тела. Верх и низ поменялись местами. И это была одна из многих микрореволюций 60-х. Грубость, имевшая много оттенков, стала ее приметой. Грубость – это не только отсутствие сантиментов, это и намеренное упрощение, отсечение полисемии: есть то, что есть, и не больше.

Хемингуэй учил, как убирать из жизни не только прилагательные, но и символы. Он возвращал миру определенность, размытую долгим засильем аллегорий. Поэтому он так и настаивал, что в «Старике и море» изображены настоящий старик и настоящее море.

Вывод, который сделали 60-е из хемингуэевского материализма, – закономерен, хоть и странен. Престижным стал антиинтеллектуализм. Ученое рассуждение, книжное знание – подозрительны. «Кон что-то говорил о том, что это прекрасный образец чего-то, – не помню чего. Мне собор показался красивым...»¹⁰¹

Эрудиция в России – отличительное свойство интеллигентного сословия. Как голубая кровь, она отделяет избранных от плебса. Но в 60-е стало модно не знать. Появился культ романтического невежества. Ценилось лишь свежее, чувственное восприятие. Вычитанное знание ощущалось банальностью. Стиль требовал носить не очки, а бороду¹⁰².

Однако с антиинтеллектуализмом надо было обращаться умело. Герой 60-х мог выглядеть дураком, но только до тех пор, пока окружающие понимали, что он валяет дурака. Айсберг был универсален. Чем больше немудреной простоты виднелось на поверхности, тем утонченней казался невидимый багаж знаний. Нельзя рассуждать о Шпенглере, но можно мимоходом на него сослаться. Небрежное отношение как к материальным, так и к духовным ценностям – вот ключ к тому странному этикету, в плену которого находились шестидесятники.

В конечном счете смысл этого этикета сводился к общению. Правильное отношение к жизни служило паролем, по которому в толпе чужих можно узнать своих.

Когда Брет Эшли объясняет Джейку Барнсу, чем хорош греческий граф, она повторяет только одно: «Но он свой. Совсем свой. Это сразу видно»¹⁰³. Для Хемингуэя «своим» было потерянное поколение. У этого понятия имелся конкретный социально-исторический смысл. Но в России 60-х никакого потерянного поколения не было. Оно появилось 20 лет спустя – как следствие потери общности, созданной и хемингуэевским стилем.

Кто же были «свои» в России?

Смена эпох выражается сменой знаков. Советское общество дохрущевского периода было серьезным. Оно было драматическим, героическим, трагическим. 60-е искали альтернативы этой идеологической модели. Они заменили знаки, и общество 60-х стало НЕсерьезным.

Отрицание «серьезности» подразумевало борьбу с фальшью, обманом, красивыми словами. Ложь – от государственной до частной – стала главным врагом 60-х. «Правда – бог свободного человека»¹⁰⁴. Этот горьковский тезис положили на хемингуэевскую поэтику. Именно правда подразумевалась под грубой внешностью, под грубой материальностью нового стиля. Школа подтекста научила главному – чтобы сказать о правде, надо о ней молчать. Или – хотя бы – говорить грубо.

¹⁰⁰ Книга о вкусной и здоровой пище. М., 1953. С. 7.

¹⁰¹ Хемингуэй. С. 569.

¹⁰² Вот как выглядит этот странный этикет в изображении очень чуткого к хемингуэевскому стилю советского писателя Валерия Попова: «Пришли с ним в какую-то компанию. Физики гениальные, режиссеры. Полно народу, и все босиком. Огромная квартира, много дверей, и все занимались тем, что одновременно в них появлялись. Мотают головами, говорят: «А мы тут дурак-и, – ничего не знаем!» (Попов В. *Две поездки в Москву*. М., 1985. С. 203).

¹⁰³ Хемингуэй. С. 522.

¹⁰⁴ Горький М. *На дне*. В кн.: Горький М. *Избранное*. М., 1970. С. 77.

Подтекст нужен был еще и потому, что сущность новой правды скрывалась в тумане.

Впрочем, хемингуэвская правда тоже была расплывчатой: ложь ярко высвечивалась, а правда лишь подразумевалась. Она, как и многое другое, оставалась в подтексте – произнесенная правда превращалась в ложь.

Такая этика, построенная на негативном идеале, позволяла свободу маневра. Благодаря ей сообщество «своих» объединяло самых разных. Поэтому так различна судьба шестидесятников, некогда составлявших монолитную группу.

Бытовой ипостасью невысказанной правды была искренность. Истина лежала в подтексте, как золотой запас. А в качестве разменной монеты в обращение ввели предельную честность и надрызную откровенность. Эпоха требовала «назвать кошку кошкой».

Узкая грань между правдой и ложью становилась еще уже, когда сталкивались представители этих абсолютных категорий – искренность и фальшь. Чтобы успешно балансировать на опасной грани, нужно было отчетливо ощущать стиль, прекрасно владеть техникой хемингуэвского диалога. Герой «Фиесты» признается: «Когда я говорю гадости, я совсем этого не думаю»¹⁰⁵. Грубость заменяет ему нежность, хамство – лесть. Эпоха, заменившая знаки, конечно, не отменила любовь и дружбу, но загнала их в подтекст. Главные ценности жизни нельзя доставать наружу – иначе они засветятся, как фотобумага. Цинизм 60-х был маской, защищавшей чувства от инфляции.

Те, кто понимал и принимал условия игры в Хемингуэя, составляли братство «своих». В компаниях «своих» всегда царила особая напряженность, особая приподнятость над реальностью. Эстетика Хемингуэя придавала значение пустякам. А значит, пустяков просто не было. Подтекст награждал глубокомыслием. Самым ярким, самым значительным событием в хемингуэвском стиле было общение, диалог, столкновение двух айсбергов.

Обмен репликами мгновенно открывал в собеседнике своего или чужого. Чужие говорили о том, что в жизни всегда есть место подвигу. Свои меланхолически замечали: «Я люблю, чтобы в коктейле была маслина»¹⁰⁶.

Круг почитателей хемингуэвского стиля не имел программы. Объединяло их только мировоззрение, в котором сконцентрировались экстремальные черты философии Хемингуэя: примат интуитивного подхода, яркая, но скрытая эмоциональность, стыдливое самолюбование, болезненная мужественность, тайная жажда пафоса, а главное – преимущество подтекста перед текстом.

Люди, обремененные или облагодетельствованные таким своеобразным комплексом, не могли не общаться. Стиль мог реализоваться только в момент пересечения. «Человек один не может ни черта»¹⁰⁷ – в том числе и вести диалог.

В 60-е культ общения распространился на все структуры общества. Акцент сместился с труда на досуг. Вернее, досуг включил в себя труд. Будь то бригада строителей, геологическая партия или научно-исследовательский институт – атмосфера дружеского взаимопонимания казалась куда важнее производственных задач.

Единомышленники собирались, чтобы насладиться только что рожденным единомыслием, чтобы сообща воссоздавать стиль. Дружба стала и сутью, и формой досуга. Даже шире – жизни.

Мир, в котором поменяли знаки, как бы рождался заново. И людей, которые стояли у его колыбели, объединяло вдохновение первооткрывателей.

¹⁰⁵ Хемингуэй. С. 528.

¹⁰⁶ Там же. С. 107.

¹⁰⁷ Хемингуэй Э. *Иметь и не иметь*. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. С. 632.

Развенчание могущественных прежде идей пришло сверху. Но политические перемены не отменяли красивые слова – они просто хотели заменить одни слова другими. Хемингуэвский стиль отменял красоты вовсе. В отрицании он был тотальнее Хрущева.

Негативный пафос шестидесятников соответствовал эпохе. В эти годы история развивалась в соответствии с карнавальным ритуалом: профанация короля – вплоть до выноса из Мавзолея его трупа, торжество низа над верхом, замена торжественного стиля грубым просторечием. Лучше всего ситуация развивалась по формуле теоретика карнавала М. Бахтина (его реабилитированная книга вышла в 1963 году): «Мироощущение, освобождающее от страха, максимально приближающее мир к человеку и человека к человеку (все вовлекается в зону вольного фамильярного контакта), с его радостью смен и веселой относительностью, противостоит только односторонней и хмурой официальной серьезности, порожденной страхом, догматической, враждебной становлению и смене, стремящейся абсолютизировать данное состояние бытия и общественного строя. Именно от такой серьезности и освобождало карнавальное мироощущение»¹⁰⁸.

Вот источник той «атмосферы нарастающего праздника», о которой так любит вспоминать жившее тогда поколение. Хемингуэй помог найти формы, в которые этот карнавал выливался. Не зря 60-е из всех его книг как самую любимую выбрали «Фиесту».

Жизнь разворачивалась по законам карнавальной логики – «казалось неуместным думать о последствиях во время фиесты»¹⁰⁹. Предчувствие похмелья портит пьянку.

60-е уже не жили прошлым и еще не заботились о будущем. Эфемерные радости дружеского общения ценились выше более реальных, но и более громоздких достижений, вроде карьеры или зарплаты. Быть «своим» казалось, да и было, важнее официальных благ.

В карнавализованном обществе 60-х самыми прочными представлялись дружеские, а не государственные узы. Успех в команде КВН даже с точки зрения житейской был существенней комсомольской карьеры. Хотя в эти годы и секретари райкомов не избежали влияния хемингуэвского стиля.

Дружба – эмоция, оккупировавшая 60-е, – стала источником независимого общественного мнения. Неофициальный авторитет стоил дороже официального, и добиться его было труднее. Остракизм «своих» был более грозной силой, чем служебные неприятности. В начале 60-х еще можно было совмещать служение государству с дружеским общением. Но когда пришло время выбирать одно из двух, шестидесятники оказались в экстремальной нравственной ситуации. Сама проблема выбора появилась только благодаря влиянию общественного мнения. А оно, в свою очередь, родилось из дружбы, казавшейся таким легкомысленным заменителем надежных гражданских добродетелей.

Эпоха, когда несерьезное стало важнее серьезного, когда досуг преобразовывал труд, когда дружба заменила административную иерархию, трансформировала и всю систему социально-культурных жанров.

Допотопной глупостью казались торжественные собрания, кумачовые скатерти, речи по бумажке. Все по-настоящему важное могло происходить только в сфере «фамильярного контакта». Стихи не читали, а слушали. Юбилейные заседания превращались в дискуссии. Капустник торжествовал над МХАТом. Стенгазеты конкурировали с газетами. Самодеятельность (тот же КВН) вытесняла профессионалов. И даже Первый секретарь Центрального Комитета КПСС не чурался импровизации.

В этой новой системе жанров первое место принадлежало самому несерьезному, самому фамильярному из всех – жанру дружеской попойки.

¹⁰⁸ Бахтин М. *Проблемы поэтики Достоевского*. М., 1972. С. 274.

¹⁰⁹ Хемингуэй. *Фиеста*. С. 623.

Алкоголь окончательно упразднил пережитки догматичного мироощущения. Пьянство создавало текучую, подвижную, эгалитарную реальность. Пир рождал не единое мировоззрение, но единое отношение к миру: все было в равной степени важно и не важно. Чтобы мир осмыслить заново, надо было сперва привести его к расплывчатому хаосу, нивелировать сферы жизни, довести ее до того состояния, когда закрытие винного отдела становится важнее продвижения по службе. Пьянка как источник социального творчества стала кульминацией карнавала 60-х.

Но и в этом сугубо национальном жанре сказалось влияние Хемингуэя.

Дело не в том, что у Хемингуэя пьют – в России всегда пили. Важно, что у Хемингуэя нет принципиального различия между пьяной и трезвой жизнью. Пьянство – не порок, а способ взаимоотношения с миром, с обществом, с друзьями. Алкоголь – средство обострения карнавального ощущения. С каждой рюмкой снимается очередная обязанность перед обществом: застолье подразумевает в собутельнике человека просто – человека, лишённого любой социальной роли.

Возмущенно спрашивая «почему вы никогда не напиваетесь?»¹¹⁰, герой Хемингуэя подразумевает другой вопрос: почему вы не хотите быть самим собой, почему вы не откажетесь от принятой роли, почему вы не настоящий?

В 60-е большая печень была несовместима с дружбой. И все же алкоголь был средством, а не целью. Смысл застолья – в творческом горении, которое осеняло дружескую компанию, соблюдающую весь этот ритуал. Здесь рождалась не истина, а взаимопонимание. Искусство пьяного диалога заключалось в осторожном нащупывании совместной мировоззренческой платформы. Пьянка могла удалиться только тогда, когда ее участники обнаруживали общий подтекст. Тогда сообщая они сооружали из ничего не значащих реплик общее интуитивное родство.

Пьянка давала не результат, а состояние. И оставляла она после себя не похмелье, а братское единство. Она культивировала способ жизни и взгляд на вещи. Она строила модель перевернутой вселенной, в которой важно только неважное и истинно только несказанное.

Чтобы удержаться на такой духовной высоте, пьянке был необходим подспудный трагизм. Настоящий карнавал не существует без трагической темы. Боль, смерть, горе могут им профанироваться, но без них и карнавал и пьянка превращаются в фарс.

У Хемингуэя трагедия оставалась в подтексте. Война, кровь, несчастная любовь – все оттеняет фиесту, дает ей глубину, объем, масштаб.

В пьянках 60-х трагедия была тоже за скобками: трагичность продуцировал сам этикет.

Так, например, стиль требовал обостренной мужественности – готовности к физическому отпору, поиска рискованных ситуаций, агрессивной демонстрации бицепсов.

«Свои» всегда состояли из мужчин, даже если среди них были женщины. Любовь считалась всего лишь филиалом дружбы. И настоящий шестидесятник никогда бы не променял «водку на бабу». И полюбить он мог только женщину, которая бы одобрила этот выбор.

Настоящая, а не сыгранная трагедия началась тогда, когда жрецы дружбы и пьянства осознали ограниченность своего идеала. Как бы счастлив ни был их культ, он не оставлял результатов. Когда карнавал затянулся, его участники почувствовали тоску по настоящему делу. Они уже были настоящими мужчинами, настоящими друзьями, настоящими пьяницами. Они уже прошли школу воспитания подлинного характера. Но все откладывалась пора созидания – книг, государства, семьи.

После веселых разрушений должна была наступить бодрая эпоха реализации завоеванных преимуществ. Однако поклонники Хемингуэя напрасно искали рецептов у своего кумира. Хемингуэевский образец создал сильного, красивого, правильного человека, который не знал, что ему делать. В России опять появились «лишние люди».

¹¹⁰ Там же. С. 613.

Надуманная трагедия стала настоящей, когда последователи Хемингуэя превратились в его эпигонов. Бесцельность ритуала, которая так соответствовала буйствам фиесты, начала тяготить именно своей безрезультатностью.

Те, кто остался верен своему кумиру, оказались лишними людьми. Если раньше они разделяли достоинства Хемингуэя, то теперь – его недостатки. Подтекст мстил за свою неопределенность. Жажда искренности превратилась в истеричность. Грубость, скрывавшая нежность, стала просто хамством. Дотошное внимание к пустякам привело к потере ориентации. К тому же лишние люди, не нашедшие применения своему идеалу, легко превращались в конформистов: если нечего делать – все равно, что делать. Мрачная судьба ждала и высшее достижение хемингуэевской школы – пьянство: оно неотвратимо катилось к алкоголизму.

Перерождение идеала происходило из-за слишком увлеченного следования ему. Стиль, полностью воплотившийся в жизнь, стал неузнаваем.

И тут произошло неожиданное, но внутренне закономерное событие. Хемингуэевский идеал слился с блатным. Внешне герой 60-х остался таким же – с бородой, гитарой и стаканом. Но, приглядевшись, можно было узнать в нем не Хемингуэя, а Высоцкого. Стихия приблатненной культуры захлестнула страну.

Героями Высоцкого в 60-е тоже были настоящие мужчины. Они тоже презирали книжное знание. Они ненавидели фальшь, туфту, показуху. Они всегда были готовы рисковать своей или чужой жизнью. Они несомненно относились к лишним людям и наслаждались положением изгоев. Они не хотели ничего создавать, и в их подтексте была нешуточная трагедия тюрьмы и расстрела. Ну и, конечно, пили у Высоцкого не меньше, чем у Хемингуэя.

Трансформация одного идеала в другой привела к тому, что бездеятельность как протест против глупой деятельности стала абсолютным принципом, напускной цинизм превратился в настоящий.

Блатной – незаконнорожденный сын русского Хемингуэя – при всей яркости, обостренности, экстремальности облика, далек от своего предка. Пожалуй, только к нему применимо тонкое суждение советского критика: «Влияние Хемингуэя было отрицательным (в целом) – оглуляющим – созданием образа декоративного мужчины, в котором «честность» заменяет мозги»¹¹¹.

Хемингуэевский разгул прокатился по России, оставив после себя похмелье. Но как ни горько было разочарование, упреки по адресу писателя несправедливы. «Он мог научить, как жить, но не давал ответа – зачем»¹¹², – сетовали его бывшие поклонники. Ответ Хемингуэя как раз и заключался в том, чтобы не задавать этого вопроса. Люди 60-х, восприняв хемингуэевский стиль, должны были сами решить, что с ним делать.

И все же Хемингуэй не исчез без следа. Он привил поколению презрение к позе. Он подарил счастье спонтанного взаимопонимания. Хемингуэевский идеал воспитал недоверие к внешнему пафосу, создал общность несерьезных людей.

Конечно, хемингуэевский идеал – негативен. Он отрицает, а не создает. Но позитивные идеалы опаснее мужественного и застенчивого умолчания. И люди, которые не знают, зачем жить, все же приемлемее тех, кто знает это наверняка.

Когда в моду вошли герои, преисполненные ответственности за судьбы мира, когда в стихах все слова стали писать с большой буквы, когда опять заговорили красивыми словами о гордых материях, – только редкие, как зубры, адепты хемингуэевской веры продолжают небрежно цедить: «Я люблю, чтобы в коктейле была маслина».

¹¹¹ Отзыв советского литературоведа П. Палиевского. Цит. по кн.: Орлова Р. *Хемингуэй в России*. Анн-Арбор (США), 1985. С. 65.

¹¹² Там же. С. 67. Отзыв писательницы И. Варламовой.

В поисках героев



География вместо истории Сибирь

Главное свойство российской географии – простор. Ведь даже по карте нужно долго вести глазами от одних российских пределов до других.

Гипноз масштаба неизбежно влияет на духовную жизнь страны, и каждый ее житель нутром чувствует протяженность государственных границ. Восхищаясь или негодуя, тайно или явно, любой россиянин ощущает значительность державы, площадь которой измеряется простыми дробями – одна шестая суши.

Если другие страны занимают какую-то часть карты, то России на ней отведена целая сторона света – Север.

Издавна – Русь и Север были синонимами. Где-то существовали вполне определенные Франции, Англии, Италии. И только Россия с одной стороны граничила с цивилизацией, а с другой – с бесконечностью.

В титуле Ивана Грозного вслед за названиями всяких земель идет определение простое и величественное – «повелитель Северной стороны»¹¹³. От таких-то и таких-то пределов на юге – до тех пор, пока человек не замерзнет в таинственной полярной тьме. (Есть здесь варварская мощь, пренебрегающая логикой. Вроде: копать канаву от забора до обеда.)

Для древних культурных народов, выросших под солнцем южных широт, не было ничего заманчивого в Севере. Вот, например, что написал об этой стране средневековый арабский путешественник: там «находятся только мраки, пустыни и горы, которые не покидают снег и мороз; в них не растут растения и не живут никакие животные; там непрерывно бывает дождь и густой туман, и решительно никогда не встает солнце»¹¹⁴.

Но в России Север приобрел статус национального символа. Стал частью поэтического образа России. (В Лондоне – туман, в Москве – снег.)

Из того, в чем другие видели лишь обузу, Россия извлекла духовную выгоду. Выносили, стойкость, терпение, величайшая способность к выживанию – вот что дал Север русскому национальному мифу.

Русские веками шли на Северо-Восток. Славянская волна катилась по Евразийскому континенту, пока не добралась до Америки. Этот долгий путь не был столбовой дорогой российской цивилизации. Но он придавал внутреннюю мощь всем ее государственным претензиям.

Если иностранцам Север представлялся единой землей, где «решительно никогда не встает солнце», то для русских он имел свою градацию. Каждая новая ступень усугубляла ощущение Севера в российской истории и географии. Поморские земли, Урал, наконец, Сибирь...

Сибирь была уже квинтэссенцией Севера. Она лежала не у пределов культурного мира, а вне его. Ее размеры раз и навсегда ошеломили русское государство. Тут пространство теряло определенность и превращалось в абстракцию.

Поэтому Сибирь и не была обычной колонией. Скорее, это – склад простора, почти неисчерпаемый географический запасник. Сибирь служила источником не столько реальной пользы, сколько поэтических метафор. Она привила российской душе страсть к гиперболе.

И, конечно, она была постоянным вызовом. Как Дальний Запад для Америки, Сибирь служила ареной, на которой русские конкистадоры – землепроходцы – демонстрировали энергию страны. Подобно Кортесу и Писсаро, Ермак и Хабаров совершали неслыханные подвиги мужества и жестокости. Вместе с пушшиной в Россию просачивались легенды о новом типе людей и отношений – сибирском.

Сибирь была дана России как бы в компенсацию и за татарское иго, и за ляхов, и за турок. Здесь наконец без помех могла проявиться русская удадь. Тут – не числом, а отчаянной храбростью – строилась империя.

Сибирь, лишённая законов и благоразумия, породила государственный комплекс превосходства. Она сформировала представление о безграничном запасе – земли, богатств, сил. И никому не удавалось устоять перед обаянием этого мифа.

¹¹³ Цит. по: Магидович И., Магидович В. *Очерки по истории географических открытий*. М., 1983. Т. 2. С. 245.

¹¹⁴ Цит. по: Хеннинг Р. *Неведомые земли*. М., 1961. Т. 2. С. 23.

В 24 раза больше Англии, в три раза больше Европейской России, в полтора раза больше США. Самая большая страна в мире – Сибирь.

Другое дело, что никто толком не знал, что делать с этой громадой. Добывать лес, меха, золото? Ссылать каторжников? И это, конечно. Но главное заключалось в чистой идее пространства. В России реальная нужда никогда не заменяла потребности в метафизике.

Все в Сибири должно было соответствовать ее размерам – тайга, реки, медведи, даже сибирская язва. И, конечно, люди.

При слове «сибиряк» представляется человеческая особь, снабженная избыточным ростом, весом, напором.

Когда в конце XIX века здесь появились сепаратисты – «сибирские областники»¹¹⁵, то они рассматривали себя как новую отдельную нацию. Если в течение столетий в Сибири собирались самые энергичные, самые бесстрашные, самые сильные люди, и если правительство постоянно подмешивало к ним политических и уголовных каторжан, и если эта взрывчатая смесь закалялась в борьбе с суровым Севером, то в результате не могла не получиться соль нации.

Как ни далека была Сибирь, но с такой точкой зрения соглашались многие. Вот, например, что говорит герой повести Марка Твена: «Назови мне такое место в мире, где на каждую тысячу обычных жителей приходилось бы в 25 раз больше людей мужественных, смелых, исполненных подлинного героизма, бескорыстия, преданности высоким и благородным идеалам, любви к свободе, образованных и умных?»¹¹⁶

Его собеседник сразу догадывается, о чем идет речь: «Сибирь!»

Когда советская страна сняла сталинские портреты и с новыми силами бросилась к коммунизму, ей понадобилось чистое поле деятельности.

Старинный миф о Сибири наполнился новым содержанием. Если вновь доставать измызганные идеалы, то делать это следует в девственной сибирской стране. Не расчищать руины неудавшегося социализма, а строить его заново.

При этом старались не замечать, что руин хватает и на сибирских просторах. Уж слишком они были просторными, чтобы их удалось оцепить колючей проволокой.

Эпоха требовала, чтобы величие Сибири соответствовало великим порывам. И вот, как много веков назад, туда отправились землепроходцы, энтузиасты, строители будущего. По 200 000 человек в год уходили в этот путь, завершающий волну славянского переселения.

От московских вокзалов рельсы вели в светлое будущее. Коммунизм можно построить в отдельно взятой стране, если эта страна – Сибирь.

Летописец 60-х, сибиряк Евтушенко вкладывал в уста политического ссыльного Радищева готовую формулу момента:

Но, озирая дремлющую ширь,
Не мыслил я, чтоб вы преобразили
Тюрьмой России бывшую Сибирь
В источник света будущей России¹¹⁷.

Такое соотношение будущего и прошлого советской истории устраивало многих. От Программы Коммунистической партии – «Большое развитие получит промышленность в районах восточнее Урала»¹¹⁸ – до неизвестного сибирского поэта:

¹¹⁵ См.: Вопросы истории Сибири. Вып. 2. Томск, 1965.

¹¹⁶ Твен М. *Собр. соч.*: В 12 т. М., 1960. Т. 7. С. 145.

¹¹⁷ Евтушенко Е. *Братская ГЭС*. Юность. 1965. № 4. С. 47.

¹¹⁸ *Программа КПСС*. Часть вторая, I, I.

Предела нет отваге и упорству!
Без громких слов и выпренных речей,
В фуфайках, куртках парни Дивногорска
Шли в бой, в атаку шли на Енисей¹¹⁹.

«Какие ассоциации будут возникать у моего сына лет через 20–30 при упоминании Сибири?» – спрашивал восторженный корреспондент у академика Лаврентьева, создателя Академгородка. «Думаю, что Сибирь будет для него синонимом процветания и индустриальной мощи, краем гармонии природы и цивилизации»¹²⁰, – отвечал ученый, который, кстати, придумал Академгородок во время лыжной прогулки.

И Солженицын, правда, несколько позже, благословил сибирский поход советского народа: «Сибирь и Север – наша надежда и отстойник наш»¹²¹.

Конечно, западные аналитики, чуждые размаху российской души, видели в сибирском порыве военно-политический расчет. Они высчитывали, что в Сибири живет всего 15 % населения СССР. Они вспоминали слова знаменитого историка Арнольда Тойнби, который предрекал, что к XXI веку Сибирь станет китайской. Они говорили, что это государственная необходимость – обживать край, на который веками зарится перенаселенная и недружественная держава.

Конечно, Сибирь не для того, чтобы дарить ее китайцам. И где-то подспудно переселенцы осознавали, что опасные рубежи родины сместились от Балтики к Амуру. Но все же не на войну ехали веселые эшелоны.

Вернее, на войну, но – с трудностями, с неустройством, с мещанскими предрассудками. Шли в бой с суровой природой. И бой этот представлялся джентльменским поединком: на одной стороне могучая непокорная стихия, на другой – молодость, задор, идеалы.

Тут очищенные от сталинской скверны коммунистические принципы должны развернуться во всю мощь.

А принципы эти были конкретными и очевидными: «Определяя основные задачи строительства коммунистического общества, партия руководствуется гениальной формулой В. И. Ленина: «Коммунизм – это есть советская власть плюс электрификация всей страны»¹²².

И вот – Новосибирская ГЭС, Иркутская, Братская, Красноярская.

Объект приложения народных сил был выбран крайне удачно. Ленин не мог ошибаться. Во всяком случае, не Ленин 60-х годов. И если для выполнения его заветов не хватало покорения сибирских рек, то за этим дело не станет.

Не Братскую ГЭС строили молодые энтузиасты, а обещанный Лениным и Хрущевым коммунизм. До осуществления мечты оставался один шаг, полшага: «25 марта 1963 года, – рапортует журнал «Сибирские огни». – Десять часов утра. Штурм Енисея начался». Еще чуть-чуть, и вот: «Холостой сброс воды прекращен! Свети в пять миллионов киловатт!»¹²³

Последний шаг пройден. Сбылись слова интеллигента-мечтателя: «Какая полная, умная и смелая жизнь осветит со временем эти берега»¹²⁴.

¹¹⁹ См.: Сибирские огни. 1963. № 1.

¹²⁰ Литературная газета. 1967. 5 ноября.

¹²¹ Солженицын А. *Письмо вождям Советского Союза*. Париж, 1974. С. 25.

¹²² *Программа КПСС*. Часть вторая.

¹²³ Даниленко Л. *Огни в устье Илимма*. Сибирские огни. 1963. № 1.

¹²⁴ Чехов А. *Полн. собр. соч. и писем*: В 30 т. Т. 14–15. М., 1978. С. 35.

И американцы, которые приберегают свой скепсис для буржуазной прессы, в сибирском журнале выглядят почти братьями. «Знакомясь с гидроэлектростанцией, американцы не могли сдержать восторга»¹²⁵.

То, что в Сибири Братскую ГЭС построили, а коммунизм – нет, озадачило поколение 60-х. Ведь здесь были и советская власть, и электрификация, и вера в идеалы, и сами идеалы. И Сибирь честно предоставила для этой цели невиданные просторы и неслыханные трудности.

Когда скучные люди, которых интересуют цифры, а не романтика, стали искать причины, выяснилось, что коммунизм опять строили неправильно. Что к 1964 году население Сибири не увеличилось, а уменьшилось. И что если в героическое семилетие освоения Севера сюда приезжали по 200 тысяч человек в год, то за эти же семь лет 400 тысяч уехали обратно. Что на построенных ценой мучительных усилий заводах некому работать. А там, где есть кому работать, работать негде¹²⁶. Даже штатным оптимистам приходилось признавать, что «непредсказуемый наукой «коэффициент бесхозяйственности» пока что съедает на Севере одну треть затрат»¹²⁷.

Эпоха 60-х распростилась еще с одним идеалом. И когда в брежневские времена партия пыталась оживить сибирскую легенду Байкало-Амурской магистралью, народ не отозвался. Не было больше порыва, и не было больше героев. Иссяк пафос. И уже не патетической поэмой «Братская ГЭС» откликнулась российская муза на новый призыв, а скабрешной частушкой:

Приезжай ко мне на БАМ,
Я тебе на рельсах дам¹²⁸.

¹²⁵ Даниленко.

¹²⁶ См.: Вопросы экономики. 1964, декабрь.

¹²⁷ Некрасов Н. *Большое енисейское озеро*. Литературная газета. 1967. 5 ноября.

¹²⁸ Цит. по памяти.

Непотерянное поколение Война

9 мая 1945 года все казалось очевидным. Война закончилась. Войну выиграли.

Но уже тогда, в первый день мира, задавались вопросы, ответы на которые должно было дать будущее. Кто победил и почему?

Даже «Правда», датированная днями победы, отвечала по-разному.

«Разгром гитлеровской Германии показал, что нет такой вражеской силы, которая устояла бы перед натиском объединенных наций, воодушевленных высокими идеями защиты цивилизации, культуры, демократии»¹²⁹, – написано было в передовой.

Трумэн говорил: «Армия союзников путем самопожертвования и преданности, с помощью Бога...»¹³⁰

Сталин по-своему интерпретировал победу: «Вековая борьба славянских народов за свое существование и свою независимость окончилась победой над немецкими захватчиками и немецкой тиранией»¹³¹.

«Кто поверг фашизм?» – спрашивал космополит Эренбург. И сам себе отвечал: «Народ, который исповедует братство, мирный труд, солидарность всех трудящихся»¹³².

Пожалуй, наиболее соответствующий моменту ответ дала сказительница Марфа Крюкова: «Подарил народу жизнь просторную, вот просторную да жизнь счастливую, дорогой наш вождь, славный Сталин-свет»¹³³.

Следы сражений – разрушенная Европа – были налицо. Плоды победы – новая карта – тоже не заставили себя ждать. Но вопросы, которые задала война советскому обществу, остались открытыми, как раны, которые она нанесла.

Однако в дни салютов неуместно спрашивать о цене. Всем было известно, что врага разгромил «творец побед Красной Армии, гениальный полководец, мудрый вождь товарищ Сталин»¹³⁴. Или – народ, слившийся с вождем, как две стороны одного листа:

В раскате грозного похода
Сказались, гордость в нас будя,
И гений нашего народа,
И гений нашего вождя¹³⁵.

Но когда XX съезд лишил великую войну великого полководца, лист разорвали немислимым образом – расслоили. Теперь победителем стал только народ. А поскольку нельзя весь народ одеть в форму генералиссимуса, то одних фанфар оказалось недостаточно.

Война превращалась в трагедию. Но в трагедию оптимистическую.

Далась победа нелегко, – объяснял Шолохов в хрестоматийном рассказе «Судьба человека» (1957), – но нет таких испытаний, из которых наш человек не выйдет окрепшим.

В этой идее не было ничего нового. Уже много лет все твердо знали, как закаляется сталь. Новым, возможно, было лишь то, что шолоховская судьба человека являлась судьбой несо-

¹²⁹ Правда. 1945. 9 мая.

¹³⁰ Правда. 1945. 10 мая.

¹³¹ Там же.

¹³² Там же.

¹³³ Правда. 1945. 14 мая.

¹³⁴ Правда. 1945. 9 мая.

¹³⁵ Бедный Д. *День салютов*. Правда. 1945. 20 января.

мненно русского человека. Из всех подвигов, совершенных Андреем Соколовым, и автору, и читателю ближе всех этот: «Я после первого стакана не закусьваю!»¹³⁶

Оптимистической трагедии пытались придать и форму трагедии в более классическом понимании. Популярная попытка этого рода – книга Симонова «Живые и мертвые» (1959). Уже в заглавии автор постулирует конфликт глобальный, вневременной. Не зря оно так очевидно перекликается с названием другой военной эпопеи – «Война и мир».

Симоновский роман давал историческую и психологическую интерпретацию войны, которая должна была закрыть тему.

Концепция Симонова отличалась ясностью и видимостью правды: из-за отдельных ошибок Сталина мы встретили войну неподготовленными. Но ценой огромных жертв (может быть, слишком огромных, робко замечает автор) народ отстоял родину.

Симонов твердо помнил про толстовскую «дубину народной войны» и буквально воспроизвел ее в романе. У Толстого войну выиграл капитан Тушин, у Симонова – капитан Иванов, на чьей фамилии «вся Россия держится»¹³⁷.

Однако в толстом романе так и не нашлось места, чтобы внятно объяснить, за что сражался народ-герой. Главный конфликт книги – не между живыми и мертвыми. И даже не между воюющими сторонами. Главным героем книги стал партбилет, потерянный политработником Синцовым. Тема восстановления в партии героя романа перевешивает проблему народного подвига. «Что дороже: человек или бумага?»¹³⁸ – мужественно спрашивает Синцов. «Человек с бумагой», – отвечает Симонов, уходя от обозначенного в заглавии конфликта в бюрократические осложнения.

К началу 60-х советское общество уже было вооружено набором знаний о войне. Уже стало ясно, что не один Сталин ее выиграл. Что советский народ совершил подвиг. И что без партбилета совершить этот подвиг было нельзя.

Тем удивительней, что такой законченной картины оказалось недостаточно. Напротив, «тема войны приобрела в последнее время на экране, да и в литературе, такую всеобщность, какой она не знала, кажется, со времен самой войны»¹³⁹, – с удивлением замечает критик в 1961 году.

Опять жизненно важным стал вопрос – кто выиграл войну.

Искусство 60-х сделало художественное и историческое открытие, сказав, что войну выиграла мальчишки. Не Теркин, не Сталин, не капитан Иванов – мальчишки. Юноша Алеша Скворцов из «Баллады о солдате», московские мальчишки из песен Окуджавы, совсем уже ребенок из «Иванова детства».

Для того чтобы совершить этот переворот, надо было понять, чем являлась война с немцами вообще. «В войне против Советского Союза германские империалисты преследовали не только захватнические, но и классовые цели – уничтожение первого в мире социалистического государства»¹⁴⁰, – представлял Хрущев ортодоксальную точку зрения в 1961 году. Отечественная война, таким образом, являлась прямым продолжением гражданской.

Но параллельно этой концепции существовала и другая, не менее ортодоксальная, но более величественная, превращавшая битву с фашистами в абстрактную схватку с мировым злом. Война народная переродилась в войну священную, в дело не только государственной или исторической важности, но и в событие мифологическое, вроде борьбы богов с гигантами.

¹³⁶ Шолохов М. *Судьба человека*. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. М., 1959. С. 53.

¹³⁷ Симонов К. *Живые и мертвые*. М., 1960. С. 64.

¹³⁸ Там же. С. 438.

¹³⁹ Туровская М. *Баллада о солдате*. Новый мир. 1961. № 4. С. 249.

¹⁴⁰ Правда. 1961. 22 июня.

Великая Отечественная война выводила советских людей не только за пределы союзнических армий, но и за пределы мировой истории, оставляя Россию в гордом и мощном одиночестве. «Никогда ни одному народу не приходилось переносить таких тяжелых испытаний, которые выпали на долю советских людей»¹⁴¹, – повторяли в том же 1961 году. Вроде бы с этим никто не спорил.

В эту торжественную, как Кремль, концепцию врезались мальчишки из фильмов, песен и книг 60-х. За монолитом священной войны стало проглядывать лицо маленького человека. Русская культура всегда отдыхала душой, глядя на это невзрачное лицо.

Теперь в герои войны мог попасть кто угодно – и малые, и старые, и даже евреи. И оказалось, что к войне, а значит и к победе, причастна даже бабка из стихотворения Слуцкого – «маленькая, словно атом»¹⁴². И бабку было жалко.

В 60-е война потеряла свойства осмысленного (партией или народом) деяния и превратилась в стихию случайностей. Ее герои жили и умирали уже не за Сталина или Москву, а так. И вот принесший славу советскому кино связист Скворцов из «Баллады о солдате» «подбивает танк не с осознанной целеустремленностью ненависти, а в отчаянном наитии самозащиты»¹⁴³.

Новые герои воевали не с немцами, а с войной как безличной, противоестественной, бездуховной стихией. Такая война была близка поэтике Ремарка. «Дерьмо, дерьмо, все вокруг дерьмо проклятое!»¹⁴⁴ – повторяли вслед за героями Западного фронта герои другого Западного фронта, нашего.

Из этого «дерьма», названного в учебниках Великой Отечественной, рождалась не ненависть, а любовь.

Война – аналог смерти, смерть – конец жизни, жизнь на войне – это путь к смерти. Впрочем, как и жизнь без войны. Но фронт дает перспективное сокращение этого обычно неблизкого пути.

Война позволяет ощутить яркость мгновения, гротескно отражает искаженную реальность. У Ремарка «бабочки отдыхают на зубах черепа»¹⁴⁵. И в этом нет надуманности аллегории, но есть простое отражение действительности, превращенное войной в символ.

Когда советская культура в 60-е годы открыла бабочек, она совершила отход от проверенных концепций, многообещающее отступление от истории и политики к искусству.

Но советское общество не допустило ветеранов до искусства. В героях нуждалась история. Та история, которую творили прямо сейчас, в 60-е годы.

Шла война с культом личности, с ретроgrадами, с ортодоксами. Велись сраженья за прогрессивную живопись и правдоподобную прозу. Ветераны стали козырями в этой войне.

Предание тех лет рассказывает, что единственный художник, которому прощался абстракционизм, был инвалид войны, герой Советского Союза. Когда во время знаменитой выставки в Манеже Эрнст Неизвестный отбивал атаку Хрущева, оружием его были слова: «Я – фронтовик».

Ветераны обладали тем непоколебимым авторитетом, который должен был решить исход гражданских сражений. Ни правые, ни левые не могли оставить их просто в «мальчишках». Слишком нужны были эти бойцы сегодняшнему дню.

Общество эксплуатировало военную тему так, как подсказывала ситуация. Война рассматривалась в категориях цели и средства. И подвиги и предательства совершались во имя чего-то и ради чего-то. Может быть, поэтому никому и не удалось изобразить ту нравственную

¹⁴¹ Там же.

¹⁴² Борис Слуцкий. *Как убивали мою бабку*. В кн.: Слуцкий Б. *Избранное*. М., 1980. С. 95.

¹⁴³ Туровская. С. 247.

¹⁴⁴ Ремарк Э.-М. *На Западном фронте без перемен*. М., 1959. С. 23.

¹⁴⁵ Там же.

трансформацию, которая могла оправдать всемирную бойню и которую умел показывать Толстой. Советское искусство богом считало артиллерию.

В той сумятице, которую оставил после себя XX съезд, необходимы были ориентиры. Еще нужнее ориентиры были стране после XXII съезда.

Будущее нуждалось в прочном фундаменте. Но что может быть прочнее 20 миллионов павших?

Война обладала всеми достоинствами очевидного факта. Ее выиграл народ, совершивший революцию. Значит, можно считать, что революция и есть причина победы. Значит, несмотря на все преступления социалистического строя, он выдержал грозную проверку. И теперь, отмытый кровью миллионов, этот строй ведет советский народ к реабилитированным вершинам коммунизма.

Война – тот эталон, с которым можно сверяться ежеминутно. В отличие от Днепрогэса и колхозов, победу трудно рассматривать с разных сторон. Она есть – и точка. Все остальные вопросы – второстепенные.

Искупив кровью свои и чужие ошибки, ветераны обязаны были вернуться в строй общественных сражений, чтобы ковать будущее. От людей, показавших свою отвагу в окопах, теперь требовалось гражданское мужество.

Но коммунизм надлежало строить только чистыми руками. И чтобы проверить эту чистоту, следовало отделить зерно от плевел. Советская культура вторглась в полосу экстремальной нравственности.

Война стала полигоном, на котором проверялись моральные качества советского человека.

Подвиг или предательство – перед лицом такой альтернативы излишни полутона и нюансы. Да и результаты не вызывают сомнений. Война сама обеспечила черно-белый подход, и никакие гуманистические пассажи не могли уничтожить принципиальную простоту такого деления.

Идея выбора между плохим и хорошим пронизывала всю культуру 60-х, и автор никогда не скрывал от читателя, что он точно знает, на чьей стороне правда.

Нравственная определенность основывалась на убеждении, что в мире всегда есть одна истина, что всегда известно, кто прав, а кто виноват. И если в мирной жизни все это осложнялось, то на передовой нравственные проблемы превращаются в дилеммы. Тут нет неразберихи, на которую так сетовал оживленный Твардовским Теркин:

Не понять, где фронт, где тыл.
В окруженье – в сорок первом –
Хоть какой, но выход был.
Был хоть суткам счет надежный,
Был хоть Запад и Восток...¹⁴⁶

Путаная реальность 60-х изрядно перемешала фронт с тылом и даже Восток с Западом. В ней уже не оставалось места для строгой простоты сталинских лет (народ и его враги). Тем нужнее был пример войны, тем нужнее были люди, прошедшие школу выбора. «Третьего не дано!» – в 60-е под таким лозунгом проходил урок гражданского ликбеза.

Война заговорила эзоповым языком. Как писала «Правда», «каждое талантливое произведение о борьбе народа учит, как жить и сегодня»¹⁴⁷.

¹⁴⁶ Твардовский А. *Теркин на том свете*. Новый мир. 1969. № 8. С. 18.

¹⁴⁷ Севрюк В. *Правда о великой войне*. Правда. 1966. 17 апреля.

Скажем, если искусство изображает солдат мальчишками, то это означает, что теперешняя молодежь, проклиная за узкие брюки и джаз, сможет защищать родину не хуже своих хулителей: «Мы сами пижонами слыли когда-то, а время пришло – уходили в солдаты»¹⁴⁸.

«Коммунизм – это молодость мира, и его возводить молодым», – гласили лозунги. Молодые уверяли, что возведут, ссылаясь на опыт юных предшественников в серых шинелях.

И все же война в начале 60-х была другой, чем до и после этих интересных лет. Конечно, герои оставались героями, а предатели – трусами, но и те и другие были правдоподобными; моральный императив облачался в жизненные формы.

Так взошла звезда Василя Быкова, который для многих был образцом честности в жадную до этой добродетели эпоху.

В прозе Быкова вопрос о роли ветеранов в мирные, но боевые дни 60-х решался с солдатской прямоотой. «На сколько же фронтов надо бороться – и с врагами, и с разной сволочью рядом, наконец, с собою»¹⁴⁹, – говорит герой его повести (естественно, мальчишка).

Война кончилась, но передовая осталась. Ветераны воюют и тогда, когда окопы делят не фронт, а советское общество.

Продолжает войну и Василий Теркин, который возвращается с того света, чтобы навести порядок на этом:

В этот мир живых, где ныне
Нашу службу мы несем...¹⁵⁰

На какую именно службу определил Твардовский своего любимца – не ясно, но это и не важно. Существенно то, что ветерану пришлось вернуться в строй: с ним спорить потруднее, чем, к примеру, с эком Иваном Денисовичем.

По-прежнему воюет и уже упомянутый «лейтенант Неизвестный Эрнст»¹⁵¹ из стихов Вознесенского. И суть этой войны ни на йоту не изменилась оттого, что раньше врагами были фашисты, а теперь «искусствоведы в штатском».

Война никогда не кончалась и для прораба из «Хочу быть честным» Войновича, и для коллег из «Коллег» Аксенова, и для тысяч других больших и малых героев советского искусства 60-х, вышедших на передовую гражданских сражений под знаменем ветеранов Великой Отечественной.

Это знамя окрасила в бесспорные цвета народная кровь, и оно ничуть не полиняло от того, что им шантажировали сталинистов либералы оттепели.

Более того, оказалось, что знамя вообще не способно линять. Из всех советских мифов военный – самый стойкий. Его не смогли разрушить никакие разоблачения. Ни заградотряды, ни диссиденты, ни мародеры не поколебали монумента народного подвига.

«Мы не понимали, насколько Архипелаг не похож на фронт, насколько его осадная война тяжелее нашей взрывной»¹⁵², – писал Солженицын. Народ с ним не согласился. Народу это было не нужно. Он не хотел отдавать свой подвиг ни правительству, ни оппозиции. Подвиг был нужен ему самому – потому что подвиг был бесспорен.

Шли годы, и ветераны старели. Мальчишки, которых изображали в начале 60-х, стали зрелыми мужчинами к концу этой эпохи. Солдаты неотвратимо превращались в героев. И уже не жертвы бессмысленной мясорубки, а вершители европейской судьбы предстали перед

¹⁴⁸ Друнина Ю. *По улице Горького*. Юность. 1961. № 5. С. 14.

¹⁴⁹ Быков В. *Третья ракета*. М., 1963. С. 132.

¹⁵⁰ Твардовский. С. 39.

¹⁵¹ А. Вознесенский. *Неизвестный – рекем в двух шагах с эпилогом*. В кн.: Вознесенский А. *Ахиллесово сердце*. М., 1966. С. 11.

¹⁵² Солженицын А. *Архипелаг ГУЛАГ*. Париж, 1974. Т. 2. С. 173.

лицом невоевавшего поколения. Вместо «Баллады о солдате» снималась широкоформатная эпопея «Освобождение». И в новом издании БСЭ степенно излагалось, что «новая мировая война... окажет... революционизирующее влияние на народные массы»¹⁵³.

«В пяти соседних странах зарыты наши трупы»¹⁵⁴, – писал Борис Слуцкий. Приходило время собирать жатву. Например, в Праге.

И благодарили партию за доверие участники войны, и все шумнее становились парады в Дни Победы, и все больше появлялось юбилейных медалей на бортах ветеранских пиджаков.

Солдаты Великой Отечественной оставались в строю. Только фронт становился все уже. Если в начале 60-х приходилось воевать и с культом личности, и с мешанством, и с бюрократизмом, и с трусостью, то в конце 60-х из всех врагов остались только новые «враги народа». То есть те, кто хочет оболгать подвиг, отравить сладость победы, отнять сознание всеобщей и всегдашней правоты. Иногда этими врагами казались диссиденты, часто длинноволосые юнцы и всегда бывшие союзники с той стороны Эльбы. Дубина народной войны – опасное оружие, оно лишено избирательности.

Когда война превратилась в славную историю, ветераны высказались против инакомыслия, которое в числе прочего подвергает сомнению славу и историю.

Участники войны были живыми свидетелями правильности советского пути. Но если раньше их подвиг служил залогом славного будущего, то теперь они стали очевидцами славного прошлого. Путь из реформистов в охранители совершился стремительно, но незаметно, потому что термины, в которых путь описывался (мать, кровь, отчизна), оставались теми же. Менялось только внутреннее содержание понятий. Но оно было внутри, а не снаружи.

Солдаты Ремарка и Хемингуэя вынесли из войны трагическое разочарование в патриотических ценностях. Они уже не могли поверить в красивые слова. Они возненавидели тех, кто твердил, «что нет ничего выше, чем служение государству»¹⁵⁵. Война научила их верить лишь в экзистенциальные основы – в жизнь, в смерть, в любовь. Верить в «единственно хорошее, что породила война, – в товарищество»¹⁵⁶.

Трагедия, которую пережила западная цивилизация, преобразовала культуру XX века. Сделала ее грубее, недоверчивей, безжалостнее и правдивей. Потерянное поколение победителей уже никто не мог заставить строить государственную пирамиду.

Советская история обошлась без потерянного поколения: поколению не дали потеряться. Ветеранов приспособили к делу.

Победителей не судят, но сами-то они судят с тем большим азартом, чем дороже стоила победа.

¹⁵³ Цит. по: БСЭ. 3-е изд. Т. 5. С. 284.

¹⁵⁴ Слуцкий. С. 135.

¹⁵⁵ Ремарк. С. 19.

¹⁵⁶ Там же. С. 28.

Физики и лирики Наука

С тех пор как страна взяла курс на строительство коммунизма, все острее становился вопрос: кому его строить?

Чтобы ответить на этот вопрос, 60-е должны были найти своих героев. Не Павку Корчагина, не Александра Матросова, не Алексея Стаханова. Старые герои свое дело сделали. Будущее должны строить люди, не запятнанные прошлым.

Новая большая государственная правда обязана базироваться на прочной основе, не подверженной политическим толчкам. XX век резонно предлагал в качестве фундамента науку.

В глазах общества ученые обладали решающим достоинством – честностью. Она же – искренность, порядочность, правдолюбие. Эпоха делала все эти слова синонимами и вкладывала в них мировоззренческий смысл.

Дважды два обязано равняться четырем вне зависимости от принципов того, кто считает. После произвольного советского прошлого страна остро нуждалась в безотносительном настоящем. Таблица умножения обладала качествами абсолютной истины. Точные знания казались эквивалентом нравственной правды. Между честностью и математикой ставился знак равенства.

После того как выяснилось, что слова лгут, больше доверия вызывали формулы.

Ученые жили рядом, ученые были простыми советскими людьми. И все же – другими. Не зря на газетном жаргоне эпохи они назывались жрецами науки.

Общество, постепенно освобождающееся от веры в непогрешимость партии и правительства, лихорадочно искало нового культа. Наука подходила по всем статьям. Она сочетала в себе объективность истины с непонятностью ее выражения. Только посвященные в таинства могут служить науке в ее храмах. Например, в синхрофазотронах.

Наука казалась тем долгожданным рычагом, который перевернет советское общество и превратит его в утопию, построенную, естественно, на базе точных знаний.

И осуществят вековую мечту человечества не сомнительные партработники, а ученые, люди будущего. Они, как солдаты или спортсмены, стали представлять силу и здоровье нации.

Результаты не заставили себя ждать. Впервые советские физики стали получать Нобелевские премии (1958, 1962, 1964). Была реабилитирована кибернетика. Шла отчаянная борьба за генетику. Возникали новые научные центры – Дубна, Академгородок. В 1962 году по экранам с огромным успехом прошел фильм Михаила Ромма «Девять дней одного года». Новый герой был найден.

Молодость и талант соответствовали атмосфере эпохи. Ирония позволяла спуститься с героических высот до повседневности. Мелкие грешки оттеняли патетику подвига. А смертельный риск придавал значительность всему остальному. Ну и, конечно, герой должен был быть физиком. Эта наука объединяла тогда авторитет абстрактного знания с практическими результатами. С атомной бомбой, например.

Кстати, молчаливо подразумеваемая связь физики с войной добавляла герою важности. Если линия фронта проходит через ускорители и реакторы, то физики всегда на передовой. Эпоха сняла с них мундиры и нарядила в белые халаты. Этот маскарад не изменил внутреннего содержания непонятной, но патриотической деятельности ученых. При этом стоит вспомнить, что советские физики не испытывали нравственных мучений Хиросимы. Образ Франкенштейна был чужд российскому воображению.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.